

мой. Пишу в поезде,
итирован почтой. Буде
оформить книгу
ую за эти годы. Это
Средней Азии с
до н.э. по X в. н.э.
готовы на 80%, но
ого вселенск и поправк.
55 л. л. и м. х 33 л. л. са-
ибы. В Москве остано-
а денс, узнать о возмож-
защиты докторской,
то ты мне помоги! Боже
ти на Лигу адрес, я
юво ты и сам напиш
туда, как во сне... ух...
и за лаконичность, но
иногда и осудить...
Твоего покл Лева

Сергей Беляков

Гумилев

сын

Самая полная биография
Льва Гумилева

Гумилева

АСТ

Сергей Беџаков

Гумилев сын Гумилева

«Издательство АСТ»

2013

Беляков С. С.

Гумилев сын Гумилева / С. С. Беляков — «Издательство АСТ»,
2013

ISBN 978-5-17-077567-5

Сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, узник Норильска и Камышлага, переживший четыре ареста и два лагерных срока, солдат Великой Отечественной, участник штурма Берлина, Лев Николаевич Гумилев – историк с уникальной судьбой и странной, полной тайн и загадок личной жизнью. Гумилев писал в основном о Древнем мире и Средних веках, но созданная им теория лучше других объясняет сегодняшний день и позволяет прогнозировать будущее России и Европы, Китая и мусульманского мира. «Я только узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и будут кровавые скандалы», – говорил Лев Гумилев. Его идеи необходимы нам сегодня, в эпоху нового переселения народов, во времена банкротства мультикультурализма и толерантности. Эта книга – самая полная биография русского историка, основанная на обширном собрании документов и материалов, в том числе не публиковавшихся ранее.

ISBN 978-5-17-077567-5

© Беляков С. С., 2013

© Издательство АСТ, 2013

Содержание

Вместо предисловия	6
Часть I	9
Гнездо на ветру	9
В Петрограде	17
Бежецк	20
Воспитание дофина	24
Три школы и университет в березовой аллее	27
Фонтанный дом	30
Пунин	32
Часть II	34
Первый бастион	34
Хамар-Дабан	37
Таджикистан	40
В Москве	45
«Уж сколько раз твердил нам Энгельс...»	50
Старая профессура	52
Студенты	57
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Сергей Беляков

Гумилев сын Гумилева.

Биография Льва Гумилева

*Издательство благодарит за предоставленные материалы Музей
Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт-Петербург.*

*Приносим также благодарность Гелиану Михайловичу Прохорову
за использование фотографий и писем из его личного архива.*

**Выражаю сердечную благодарность всем,
кто помогал мне в работе над этой книгой.**

Прежде всего назову
Гелиана Михайловича Прохорова,
первого ученика Льва Николаевича,
и Марину Георгиевну Козыреву,
создателя и хранителя Музея-квартиры Л.Н. Гумилева.
Без материалов, собранных и опубликованных ими, эта книга многое бы потеряла.

Выражаю свою признательность Нине Ивановне Поповой,
директору Музея Анны Ахматовой,
и сотрудникам – Ирине Геннадьевне Ивановой
и Марии Борисовне Правдиной,
предоставившим в мое распоряжение уникальные материалы из архива ученого.

Большое спасибо поэту и математику Владимиру Губайловскому
и биологу Елене Наймарк за научные консультации.

От души благодарю Ольгу Геннадьевну Новикову,
хотя и понимаю, что эта книга не понравится ни ей, ни многим ученикам и последователям Льва Гумилева.

Вместо предисловия



Сохранившиеся фотографии Льва Гумилева озадачивают. Кажется, что иногда вместо него фотографировались совсем другие люди. Мемуарные свидетельства не объясняют, не рассеивают этого странного впечатления.

«Лева так похож на Колю, что люди пугаются. Моих черт в нем почти нет», – не раз говорила Ахматова. С ней соглашалась Лидия Чуковская, несколько дополняя портрет молодого Льва: «В последний раз я видела Леву, если не ошибаюсь, в 32 году <...> Это был юноша лет 17–19, некрасивый, неловкий, застенчивый, взглядом сильно напоминающий отца».

«Как вы похожи на отца», – с этих слов началось лагерное знакомство физика Сергея Штейна, будущего писателя-фантаста Сергея Снегова, и Льва Гумилева. Гумилеву-младшему вообще очень льстило, если другие находили в нем сходство с отцом. На фотографиях 1926–1927 годов, сделанных Пуниным, подросток Лев и в самом деле очень похож на Николая Степановича.

На студенческой фотографии 1934-го его сразу не узнать. Аккуратно одетый и хорошо причесанный молодой человек с почти детским лицом. Повзрослевший Левушка-Гумиле-

вушка с фотографии 1915 года. Чистый, неиспорченный мальчик. Эмма Герштейн назвала лицо Гумилева «детским», значит, фотограф в 1934 году не искажил его облика.

В 1936-м Руфь Зернова, студентка филфака ЛГУ, описывала Гумилева как светловолосого молодого человека «с аккуратным бледным лицом». Монгольская аспирантка Очирын Намсрайжав запомнила его «молодым, красивым сероглазым юношей».

Домашний мальчик, воспитанный бабушкой-дворянкой, в сталинском Советском Союзе выжить не мог. Он должен был исчезнуть. И он исчез.

Зимой 1987 года в ленинградскую квартиру доктора исторических наук Гумилева пришел корреспондент казанского журнала «Чаян» Гафазль Халилуллов. На звонок дверь открыл сам Лев Николаевич, человек «среднего роста, крепкий, с лицом и телом старого гладиатора».

К сожалению, многие фотографии не сохранились, а в мемуарах – пробелы. Сейчас уже не восстановить утраченные звенья, ведь все, кто знал Льва Гумилева в молодости, давно ушли из жизни.

Передо мной фотография, сделанная осенью 1944-го для военкомата в Туруханске. Это совсем другой человек, ироничный и грустный. Не только постаревший, это понятно: он уже пережил тюрьму и лагерь, – а именно другой. Криминалист, сопоставляя фотографии 1934-го и 1944-го, и тот, верно бы, запутался и приписал их разным людям.

Новая черта – горбинка на носу – сразу сделала Льва похожим на мать. Гумилев после войны рассказывал всем знакомым, будто горбинка – что-то вроде фронтового ранения: во время немецкого минометного обстрела разнесло какую-то дощатую постройку, отлетевшей доской ему и перебило нос. О фронтовом ранении дружно сообщают все знакомые Гумилева, но, судя по фотографии, нос ему перебили не на войне, а в лагере. В Норильске или еще раньше, в Белбалтлаге, а еще вероятнее – в кабинете следователя.

Лев Николаевич «обладал очень выразительным, красивым лицом, крупными серыми глазами, в небольшой степени раскосыми, носом с очень небольшой горбинкой, красивой формой рта...» – вспоминала Елена Херувимова (Вигдорчик), работавшая с Гумилевым в экспедиции на Хантайском озере в 1943 году.

После войны Гумилев еще несколько раз поменяет свою внешность. С фотографии декабря 1949 года (из следственного дела) на нас глядит довольно молодое лицо кавказской национальности, бритоголовый абрек. Два года спустя (фото из лагеря под Карагандой) Гумилев напоминает старика-узбека или казаха.

За этими чужими, как будто непохожими на Гумилева лицами – потерянные годы тюрем и лагерей, вынужденное, не по его воле, отступление от избранного пути. Несколько раз он пытался переломить судьбу. И в 1944-м, когда из тылового Туруханска ушел добровольцем на фронт, и в 1948-м, когда вопреки обстоятельствам все-таки защитил диссертацию, и в 1953–1956-м, в лагерные еще годы, когда нашел в себе силы вернуться в науку.

Николая Гумилева невозможно представить старым. Лев Гумилев, старея, терял сходство с оставшимся навеки молодым отцом. Зато всё отчетливее в его облике проступали ахматовские черты. Впервые на сходство матери и сына обратил внимание художник Александр Осмеркин еще зимой 1938 года: «У него капризная линия рта, как у Анны Андреевны».

В конце пятидесятых его сходство с матерью замечали все.

Свидетельство Н.И. Казакевич, сотрудницы библиотеки Государственного Эрмитажа, вторая половина 1950-х: «Сходство Л.Н. с матерью было несомненным, но он был лишен ее величавости».

Свидетельство А.Н. Зелинского, участника Астраханской археологической экспедиции, август или начало сентября 1959-го: «...внешность... менее всего вязалась с легендарным образом Николая Гумилева. Среднего роста, может быть, даже ниже среднего, плотного телосложения, с горбатым ахматовским носом, с покатою, сутулой спиной, он сидит против меня и непрерывно курит».

Из дневниковых записей Георгия Васильевича Глекина, биолога, биофизика. 1 октября 1959-го: «Вчера был у А.А. Познакомился с Львом Николаевичем. Очень странно, когда, пожимая вам руку, говорят: “Гумилев”... Он невысокого роста человек, с приветливыми, но очень грустными глазами. Чертами лица скорее напоминает мать».

Из мемуаров Аллы Демидовой: «Лев Николаевич Гумилев – абсолютная Ахматова, он к старости очень стал на нее похож».

Гумилев в старости напоминал Анну Андреевну не только внешностью, но и голосом, у него был почти такой же тембр, что и у матери. Все, кто слушал записи Ахматовой и смотрел видеолекции Гумилева, со мной наверняка согласятся.

Последние тридцать лет жизни Гумилева фотографировали часто, на всех фотографиях сходство с Ахматовой очевидно, только вот оно совсем не радовало Льва Николаевича.

Часть I

Гнездо на ветру

Это был долгожданный ребенок. Брак старшего сына Дмитрия, к огорчению Анны Ивановны Гумилевой, оказался бездетным. К осени 1912 года в семье младшего, Николая, ждали наследника. Почему-то все были уверены, что родится мальчик. Николай Степанович, узнав о беременности жены, повез ее в Италию от сырой весны, от пронизывающих балтийских ветров. Итальянское солнце казалось панацеей от телесных и душевных недугов. Об этой поездке сведений почти не сохранилось, только маршрут: Генуя – Пиза – Флоренция. Из Флоренции Николай Степанович один отправился в Рим и Сиену, потом вернулся, и они с Анной посетили Болонью, Падую, Венецию.

Вопреки надеждам, итальянское солнце холодноватых отношений между супругами не согрело.

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, в своих путях всегда уверенный...

Под этими строчками Ахматовой дата: 1912, май, Флоренция.

В эти же майские дни появились стихи Ахматовой, необъяснимые, поразительные своим трагическим диссонансом с реальностью, казалось бы, вполне благополучной.

Тихий дом мой пуст и неприветлив,
Он на лес глядит одним окном,
В нем кого-то вынули из петли
И бранили мертвого потом.

Был он грустен или тайно-весел,
Только смерть – большое торжество.
На истертом красном плюше кресел
Изредка мелькает тень его.

<...>

И, пророча близкое ненастье,
Низко, низко стелется дымок.
Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок.

Что это? Просто литературный сюжет? Но откуда эти мрачные видения? Может быть, предчувствие будущей трагической судьбы? Век войн и революций уже надвигался, и мирной жизни было отмерено всего два года.

В Россию возвращались через Вену, Краков и Киев. В Киеве Анна Андреевна осталась погостить у матери. Потом отправилась в Литки (Подольская губерния), имение своей кузины. Николай Степанович поехал в Петербург, затем – в Москву, по литературным делам. Но в

начале июня он уже был у матери, в Слепневе, откуда писал жене: «...мама нашла кучу маленьких рубашечек, пеленок...»

Вторую половину июля и начало августа Николай и Анна провели в Слепневе. Тогда за Ахматовой внимательно наблюдала двенадцатилетняя Елена, внучатая племянница Анны Ивановны Гумилевой. По ее воспоминаниям, Ахматова была «укутана в шаль и ходила тихими шагами со своей очень симпатичной бульдожкой Молли. Держалась она очень уединенно». Анна своих привычек не меняла, вставала поздно, строгому распорядку слепневского дома не следовала. Но все относились к ней доброжелательно, оберегали, в буквальном смысле на руках носили. Ей трудно было подниматься по крутой лестнице, и Анна Ивановна поручила Коле-маленькому, если Коли-большого рядом не будет, носить Анну вверх и вниз на руках. Коля-маленький, племянник Николая Степановича, был тогда рослым и сильным юношей; не пройдет и года, как оба Николая отправятся в Абиссинию.

Даже слепневские крестьяне стали не только свидетелями, но и участниками больших ожиданий в господском доме. На сельском сходе им обещали простить долги, если родится наследник. Забегая вперед, скажем, что Анна Ивановна Гумилева обещание сдержала.

Мальчик увидел свет 18 сентября (1 октября по новому стилю) 1912 года в родильном приюте императрицы Александры Федоровны на 18-й линии Васильевского острова. Через несколько дней ребенка перевезли в Царское Село, в дом Гумилевых на Малой, 63. В семье был праздник, пили шампанское за счастливое событие.

Ребенка крестили в Екатерининском соборе Царского Села 7 октября по старому стилю. Ему дали имя Лев.

Жена Дмитрия Гумилева, тоже Анна Андреевна, в девичестве Фрейганг, утверждала, что ребенок с первого дня был «всецело предоставлен» бабушке, она его «выходила, вырастила и воспитала». Все-таки не с первого дня, а постепенно – естественно, с молчаливого согласия родителей. Тут стоит внимательно прочесть воспоминания Валерии Сергеевны Срезневской, подруги Ахматовой с гимназических лет, когда они были еще Аней Горенко и Вале́й Тюльпановой. Считается, что мемуары отредактированы самой Ахматовой, если не написаны под ее диктовку. Во всяком случае, это версия Ахматовой, и она кажется убедительной.

Из воспоминаний Срезневской: «Рождение сына очень связало Анну Ахматову. Она первое время сама кормила сына и прочно обосновалась в Царском». Но понемногу «Аня освоилась от роли матери в том понимании, которое сопряжено с уходом и заботами о ребенке: там были бабушка и няня».

Так было принято среди женщин их круга. Кроме того, Анна уже тогда была Ахматовой. В марте 1912 года вышел сборник ее стихов «Вечер» и принес ей известность. Ахматова прислушивалась к себе, к своему дару и очень быстро вернулась к жизни литературной богемы Петербурга.

Возможно, Ахматова стала матерью слишком рано. В двадцать три года. Она не захотела менять привычный образ жизни.

Из биографической прозы Анны Ахматовой. «Смешили мы (Ахматова и Осип Мандельштам. – С.Б.) друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на “Тучке” (комната Гумилева в Петербурге, в Тучковом переулке, 17, кв. 29. – С.Б.) и хохотали так до обморочного состояния, как кондитерские девушки в “Улиссе” Джойса».

Позднее, в двадцатые годы, Ахматова будет забавлять маленькую еще Иру Пунину, звонить ей от имени собаки Тапа и лаять (Ира сначала не сомневалась, что звонил именно Тап). В тридцатые Анна Андреевна много занималась с соседскими детьми, Вале́й и Вовой («шакаликом»). В сороковые стала нянчиться с Аней Каминской. Но эти дети росли рядом, а Лева почти всегда оказывался далеко.

Николай Степанович тоже был доволен, вспоминает Срезневская, что «его сын растет под крылом, где ему самому было так хорошо и тепло». Так будет и дальше. Забегая вперед,

приведем фрагменты писем Ахматовой Николаю Гумилеву лета 1914 года. Еще не началась война.

«Милый Коля, 10-го я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. <...> В июльской книге “Нового слова” меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. <...> Целую, твоя Аня». К письму приложены стихи: «Моей наследницею полноправной будь...» и «Целый год ты со мной неразлучен...» (13 июля 1914 года).

«Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. <...> Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. <...> Хорошо, если с “Четок” что-нибудь получим <...> С недобрим чувством жду июльскую “Русскую мысль”. Вероятнее всего, там свершат надо мною страшную казнь *Valere* <...> Будь здоров, милый! Целую. Твоя Анна. Левушка здоров и всё умеет говорить». К письму приложено стихотворение «Подошла я к сосновому лесу» (17 июля 1914 года).

Перед нами письма поэта. Обращается Ахматова тоже к поэту, а не к отцу своего ребенка.

Роль бабушки в жизни Левы так велика, что необходимо сделать небольшое отступление. В год рождения Левы Анне Ивановне Гумилевой исполнилось пятьдесят восемь лет. Она была «хороша собой, – пишет Е.Б. Чернова, внучатая племянница А.И. Гумилевой, – высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими добрыми глазами...». Анна происходила из мелкопоместных дворян Львовых. Лев Гумилев в конце жизни утверждал: «...Гумилевы, каста военных, были священники, но в основном военные, морские и сухопутные офицеры и разведчики». На самом деле его слова относились скорее к семье Львовых. Степан Яковлевич Гумилев, дед Льва Николаевича, был военным в первом поколении.

Анна Львова провела детство, юность и молодость (до замужества) в Слепневе (Тверская губерния), родовом имении Львовых. В семье была младшей. Рано потеряла родителей. Ей было восемь лет, когда умер отец. А через три года умерла мать. Образование получила домашнее, с гувернанткой. Очень любила родной дом, кабинет отца, где на стенах висели географические карты, а в шкафу стояли книги с описаниями военных кораблей и морских сражений. Библиотека в доме была замечательная, собиралась несколькими поколениями Львовых. Анна много читала, больше всего – русские и французские романы. Французским языком владела свободно. Любила гулять по слепневскому парку и окрестностям усадьбы. Возможно, на ее характер, спокойный и уравновешенный, неизменную доброжелательность повлияла окружающая природа. Повзрослевший внук Анны Ивановны, Лев Гумилев, установит связь между психологическим состоянием человека и ландшафтом, он же отметит умиротворяющий характер природы Тверского края: «...этот якобы скучный ландшафт, очень приятный и необременительный, эти луга, покрытые цветами, васильки во ржи, незабудки у водоемов, желтые купальницы – они некрасивые цветы, но они очень идут к этому ландшафту. Они незаметны, и они освобождают человеческую душу».

Брак Анны Львовой и Степана Яковлевича Гумилева мемуаристы называют неравным: двадцатидвухлетняя потомственная дворянка и сорокалетний корабельный врач, сын сельского дьячка, вдовец с дочерью семи лет. Между тем Анна Львова послушала совета своего старшего брата (Лев Иванович познакомил ее с Гумилевым) и приняла решение, о котором никогда не жалела. Этот тип женщины любим русской литературой: пушкинская Татьяна, тургеневские девушки. Анна никогда не тяготилась сельским уединением, не любила праздности, была лишена кокетства. Она сочувствовала семейному горю Степана Яковлевича, жалела его осиротевшую дочь. С желания помочь и сострадания началась любовь.

Анна Ивановна легко вошла в роль хозяйки дома. Степан Яковлевич надолго уходил в плавание, после отставки часто и тяжело болел. Так получилось, что дом держался на ней. Все, кто знал Анну Ивановну, называли ее властной и умной. Она умела разбираться в людях.

Казалось бы, ей, воспитанной в патриархальных традициях, невозможно принять характер и образ жизни Ахматовой. Между тем Ахматову не приняли как раз ее ровесницы. Довольно неприязненно пишет об Ахматовой А.А. Гумилева (Фрейганг): «В дом влилось много чуждого элемента». Как успела дворянка за несколько лет усвоить советскую фразеологию! Ей вторит соседка Гумилевых, Вера Андреевна Неведомская: «...в семье мужа она чужая».

Анна Ивановна, несмотря на разницу в возрасте и воспитании, приняла Ахматову как родную дочь. Между ними всю жизнь сохранялись родственные сердечные отношения.

Из писем Анны Гумилевой к Анне Ахматовой: «Анечка, дорогая моя», «я рада, что ты поправилась, моя родная», «голубчик», «горячо любящая тебя мама».

Из писем Анны Ахматовой к Анне Гумилевой:

«Дорогая мама, эти деньги исключительно для того, чтобы ты наняла человека для работы по дому и сама больше ни с чем не возилась».

«Дорогая мамочка! Не надо ли прислать чего-нибудь в посылке (муки, сахара, чая, мыла), может быть, какое-нибудь лекарство Левушке? Твоя Аня».

Наконец, слово самому Льву Гумилеву: «Бабушка была ангелом доброты и доверчивости и маму очень любила».

Первые шаги маленького Левы связаны с царскосельским домом Гумилевых. Анна Ивановна купила его летом 1911 года. Дом был деревянный, двухэтажный, с небольшим палисадником.

«Снаружи такой же, как и большинство царскосельских особняков. Два этажа, обсыпанная штукатурка, дикий виноград на стене. Но внутри – тепло, просторно, удобно. Старый паркет поскрипывает, в стеклянной столовой розовеют большие кусты азалий, печи жарко натоплены. Библиотека в широких диванах. Книжные полки до потолка... Комнат много, какие-то всё кабинетики с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли...

Тишину вдруг пререзывает пронзительный крик. Это горбоносый какаду злится в своей клетке. Тот самый:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

«“Розовый друг” хлопает крыльями и злится», – вспоминал поэт Георгий Иванов.

На первом этаже были комнаты Николая Степановича и Ахматовой, Дмитрия и его жены, а также гостиная, столовая и библиотека. На втором этаже жили Анна Ивановна, Александра Степановна Сверчкова, дочь Степана Яковлевича Гумилева от первого брака, с детьми Николаем и Марией. Здесь же, на втором этаже, устроили детскую для Левы и его няни.

Из воспоминаний А.А. Гумилевой (Фрейганг): «Коля был нежным и заботливым отцом. Всегда, придя домой, он прежде всего поднимался наверх, в детскую, и возился с младенцем».

А вот Лев Николаевич в поздних интервью с сожалением утверждал, что своих родителей в детстве почти не видел. В этом нет противоречия. Если Николай Степанович бывал дома, он охотно играл с ребенком. Ему даже не надо было делать над собой усилия, как многим взрослым, временами он чувствовал себя ребенком. В 1919–1921 годах со своими студийцами, молодыми поэтами, с удовольствием играл в жмурки. Когда Лева немного подрастет, они будут играть в войну, в индейцев, в путешественников. Только вот свободного времени у Николая Степановича было немного. Осенью 1912 года он возобновил занятия в университете. Чтобы не ездить каждый день в Петербург из Царского Села, снял комнату в Тучковом переулке на Васильевском острове. Николай Степанович и Ахматова обычно не пропускали интересных вечеров в «Бродячей собаке», где собиралась литературная богема Петербурга. Только

за последние три месяца 1912 года состоялось около десятка заседаний «Цеха поэтов». Иногда они проходили в доме Гумилевых. Случалось, полуторагодовалый Лева, убежав от няни, неожиданно появлялся перед поэтами. В фольклор царскосельских поэтов Ахматова и Лева вошли под именами Гумильвица и Гумильвенка. Весной 1913 года Николай Степанович с племянником отправились в Абиссинию. На пути в Африку, из Одессы, Гумилев писал Ахматовой 9 апреля 1913 года: «Целуй от меня Львеца (забавно, я первый раз пишу его имя) и учи его говорить “папа”».

Из письма Николая Гумилева Анне Ахматовой 25 апреля 1913 года: «Леве скажи, у него будет свой негретенка, пусть радуется».

Насчет негретенка Николай Степанович, конечно, пошутил. Но привез живого попугая, светло-серого, с розовой грудкой.

Первый этаж дома Гумилевых украшали шкуры леопардов, африканские браслеты, картины абиссинских художников. Особенно сильное впечатление на гостей производило чучело пантеры в нише между столовой и гостиной.

Из воспоминаний А.А. Гумилевой-Фрейганг: «Было совсем темно, только яркая луна освещала стоящую черную пантеру. Меня поразил этот зверь с желтыми зрачками. Первый момент я подумала, что она живая. Коля был бы способен и живую пантеру привезти».

Лева рос среди этих необычных предметов. Рассказы отца об Африке, картины, шкуры, экзотические птицы развивали и без того богатое от природы воображение. На сохранившейся фотографии маленький Лева сидит на леопардовой шкуре среди игрушечных зверей.

Оказавшись за пределами дома, Лева увидел тот же мир, что и маленькая Аня Горенко двадцать лет назад: «Мои первые воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков...»

Нянька возила Левушку на санках, а «городовой грозил пальцем и говорил: “Плакать нельзя”». На прогулке в парке он однажды увидел царевича на сером ослике (запись секретаря Ахматовой Павла Лукницкого). Может быть, все-таки на пони?

В Царском Селе Гумилевы жили с сентября по май. На лето семья уезжала в родовое имение Львовых Слепнево, а дом на Малой сдавали дачникам, чтобы окупить его содержание и ремонт.

После смерти Льва Ивановича Львова (1908) имение перешло к его сестрам: Варваре, Агате и Анне. Агата умерла в 1910-м. Варвара Ивановна была очень немолода. Настоящей хозяйкой Слепнева стала Анна Ивановна.

Из автобиографии Анны Ахматовой: «Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это неживописное место: распаханное ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, “воротца”, хлеба, хлеба...»

«Воротца» – характерная примета тверских селений и усадеб, они играли роль не защитную, а скорее декоративную. На звук колокольчика прибежали деревенские ребята и открывали воротца, за что господа одаривали их конфетами и пряниками. Это превратилось в своеобразный ритуал. В целом же устройство усадьбы и быт Слепнева типичны для мелкопоместного дворянства. Этот образ жизни хорошо известен читателям Тургенева и Бунина.

Дома косые, двухэтажные.
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важные
Ведут немолчный разговор.

В садах настурции и розаны,
В прудах зацветших караси.

Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.

Н.Гумилев. Старые усадьбы

Дом Гумилевых в Слепневе был одноэтажным, с крестообразным мезонином. С террасы можно было спуститься в цветник и дальше в парк, где росли акации, липы и одинокий старый дуб, который сохранился и в наши дни. Усадьбу разделял почтовый тракт. По одну сторону дом, по другую – фруктовый сад и огород.

В Слепневе сохранялись патриархальные традиции. Когда вся семья собиралась к столу, ждали Варвару Ивановну, самого старого человека в доме. Она чем-то напоминала Екатерину II и очень любила, когда это сходство замечали. «Пока Варвара Ивановна не сделает особый знак рукой, за стол никто не садится. <...> Анна Андреевна называла эти традиции ”китайской церемонией и XVIII веком”», – вспоминает родственница Гумилевых Е.Б. Чернова.

Летом в хорошую погоду стол накрывали прямо перед домом. Собиралось человек десять, а то и пятнадцать: сестры Львовы, их дети и внуки – Гумилевы, Лампе, Кузьмины-Караваевы, Оболенские.

За столом младшие (не только внуки, но и дети сестер – Николай и Дмитрий) разговора не начинали, а только отвечали на вопросы старших. Если Ахматова относилась к патриархальным обычаям дома иронично, то Николаю Степановичу они скорее нравились. Особенно он любил церковные праздники и старался всегда провести их с семьей. На Пасху вся семья шла в царскосельскую дворцовую церковь.

В Тверском крае сохранялись старорусские православные традиции. На Петров день монахи из Николаевской Теребенской пустыни привозили чудотворную икону Николая Мирликийского. Ее отправляли в Бежецк по реке Мологе на украшенной по такому случаю лодке. По преданию, икона еще с XV века берегла город от моровой язвы.

Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут, – то значит, по течению
В село икона приплыла.

Лев Гумилев усвоит православную веру еще в раннем детстве, религия станет для него частью жизни, необходимым элементом бытия. Он сохранит веру во времена воинствующего безбожия. Даже в страшные тридцатые годы будет посещать храм. Со временем Гумилев приведет к вере своих учеников и многих друзей.

Из воспоминаний Льва Гумилева: «Помню себя в Слепневе. Тепло, сад, собаки, речки, где можно купаться...»

В Слепневе Ахматова и Лева встретили известие о начале мировой войны. Россия вступит в войну 1 августа 1914 года. Ахматовой дано было предвидеть будущее. Еще 20 июля она записала:

Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил,
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:

«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.

Ждите глада, и труса, и мора,
И затмения небесных светил».

Предчувствия сбылись. 21 июля Дмитрия Гумилева призвали из запаса в 146-й пехотный Царицынский полк. Николай, освобожденный от военной службы медицинской комиссией еще в 1907 году, начал хлопотать о призыве в армию. Решил пойти добровольцем, как тогда говорили: «охотником».

Из записной книжки Анны Ахматовой: «...вечером вся жизнь вдребезги. (Недоумевающий Лева повторял: “Баба Ана – пачет, мама – пачет, тетя Хуха¹ – пачет”. И завывали бабы по деревне)».

Николай и Дмитрий Гумилевы и Николай Сверчков ушли на фронт.

Долетают редко вести
К нашему крыльцу,
Подарили белый крестик
Твоему отцу.

Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

Между тем с начала войны дворянская идиллия Слепнева постепенно разрушалась. Имение уже не давало прежнего дохода. Весной 1916-го дом в Царском Селе пришлось продать. Правда, наступающий, 1917 год встречали еще по старинке. На Рождество приехала Ахматова: «Всё как-то сдвинулось в XIX век, чуть не в Пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега». Но уже несколько месяцев спустя жить в Слепневе станет опасно. Весной и летом 1917 года дворянские усадьбы горели по всей России. Революция разбудила вековую ненависть к помещикам.

Мемуаристы и тверские экскурсоводы утверждают, будто бы крестьяне плакали, когда «добрая барыня» Анна Ивановна уезжала из Слепнева в Бежецк. Реальную картину событий, развернувшихся в тех краях (да и по всей России), оставила нам Анна Ахматова.

Из писем Анны Ахматовой к Михаилу Лозинскому, июль 1917 года: «Мужики клянутся, что дом (наш) на их костях стоит, выкосили наш луг, а когда для разбора этого дела приехало начальство из города, они слезно просили: “Матушка барыня, простите, уж это последний раз!” Тоже социалисты! <...> Вообще тьма крошечная царит в умах».

«Приехать в Петербург тоже хочется и в Аполлоне побывать! Но крестьяне обещали уничтожить слепневскую усадьбу 6 августа, пот<ому> что это местный праздник и к ним приедут “гости”. Недурной способ занимать гостей».

Усадьбу тогда не уничтожили. Но как-то летом 1917-го в парк пришел слепневский мужик Михаил Зубов и прямо на глазах Анны Ивановны начал рубить березу. После этого случая она решила уехать. Осенью 1917 года Гумилевы покидали Слепнево, уезжали на двух подводах. Лева не понимал, что происходит. Небольшое путешествие его только развлекало. Анна Ивановна еще раз оглянулась на оставленный, еще не разоренный дом, где прошла почти вся ее жизнь. О чем она тогда подумала? Догадывалась ли, что самые страшные потери ждут ее впереди?

¹ Имеется в виду «тетя Шура», Александра Степановна Сверчкова.

Последней уезжала Александра Степановна Сверчкова. Крестьяне позволили ей забрать библиотеку, часть мебели и половину запасов хлеба. По воспоминаниям жительницы села Н.И. Приваловой, после отъезда хозяев мужики Зубарев и Соболев «взломали замок, вошли в барский дом и взяли оставшиеся там вещи».

Слепневский дом, задуманный и построенный на долгую счастливую жизнь, еще много лет будет служить людям. Там устроят начальную школу. В середине тридцатых годов, когда детей в селе останется мало, дом разберут и перенесут в соседнее село Градницы, в нем будет восьмилетняя школа, а позднее сельская библиотека и музей.

В Петрограде

В Бежецке семья Гумилевых обосновалась осенью 1917-го, а год спустя, в самом конце августа 1918-го, Анна Ивановна с внуком приехали в голодный Петроград.

Из автобиографической прозы Ахматовой: «Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином Дворе можно было собрать большой букет полевых цветов».

Николай Степанович решил: в трудное время надо держаться всем вместе.

В мае 1918-го Николай Гумилев поселился в квартире издателя и редактора журнала «Аполлон» С.К. Маковского по улице Ивановской, дом 20/65, угол Николаевской, в квартире 15. Хозяин еще весной 1917-го уехал в Крым и оставил квартиру «Аполлону». Анна Ивановна с Левой поселились там в конце августа, а Дмитрий Гумилев с женой – в сентябре.

Главным добытчиком в семье был Николай Степанович. Дмитрий Гумилев в Первую мировую войну дослужился до поручика, был награжден четырьмя боевыми орденами, получил тяжелую контузию, после которой остался инвалидом (медицинская комиссия признала 80 процентов потери трудоспособности). Дмитрий переживет брата только на три года. Умрет в нищете в городе Режице в 1924 году (по другим данным – в 1922-м).

Николай Степанович читал лекции в Институте живого слова, состоял в редколлегии издательства «Всемирная литература», переводил европейских поэтов для этого издательства, вел занятия в нескольких поэтических студиях, в том числе в студии Балтфлота. Деньги тогда обесценились, платили чаще всего продуктами.

Из воспоминаний Корнея Чуковского: «С утра мы с Николаем Степановичем выходили на промысел с пустыми кулками и склянками. <...> Гумилев видел даже какую-то прелесть в роли конквистадора, выходящего всякий день за добычей».

Николай Степанович удивлял знакомых жизнелюбием, жизнестойкостью, а главное, необходимыми для выживания в это голодное и холодное время ловкостью и сноровкой. «... Мускулы у него были железные. В этом я не раз убеждался, любуясь, с каким профессиональным искусством действует он тупым топором, рубя на топливо <...> уцелевший каким-нибудь чудом деревянный забор...» – вспоминает Чуковский.

Однажды после лекций Чуковский и Гумилев везли на санках мешки с мукой. Они увлеклись спором о ненавистных Гумилеву символистах и не заметили, как вор срезал прикрученные к санкам мешки. Чуковский был в отчаянии, а Гумилев, «не теряя ни секунды на вздохи и жалобы, сорвался с места и с каким-то диким и воинственным криком ринулся преследовать вора».

Несмотря на все усилия, прокормить семью и согреть огромную сырую квартиру было очень трудно. Побывавшему на Ивановской Владиславу Ходасевичу квартира с чужой мебелью показалась очень неудобной, зато он оставил портретную зарисовку шестилетнего Левы: «... из боковой двери выскочил тощенький бледный мальчик, такой же длиннотелый, как Гумилев, в запачканной косоворотке и валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал».

Эту сабельку и барабан упоминают многие мемуаристы. Отец и сын продолжали играть в войну, несмотря на занятость Николая Степановича. Отец читал сыну стихи. Многие Лева запомнил тогда с отцовского голоса, в том числе и поэму «Мик», посвященную ему отцом.

К Рождеству Николай Степанович совершил почти невозможное: достал пушистую новогоднюю елку. Пригласили гостей. Для них приготовили угощение и детские книжки. На этой елке побывали Коля и Лида Чуковские. Пятнадцатилетнего Колю игры малышей не интересовали. Но его поразило, что «в комнате было тепло, сверкала разукрашенная елка, в камине

пылали настоящие дрова. <...> Вокруг елки бегал и прыгал семилетний Лева. <...> Николай Степанович поглядывал на него с нежностью».

В теплые дни отец и сын гуляли по городу. После тихого Царского Села и провинциального Бежецка Петроград ошеломил Леву: каналы, дворцы, мосты, трамваи. Трамвай Лева увидел впервые в жизни. «Он всю дорогу смотрел, не отрываясь, в окно и вдруг спрашивает: “Папа, ведь они все завидуют мне, правда? Они идут, а я еду!”» – рассказывал Николай Степанович Ирине Одоевцевой.

Иногда Гумилев, отправляясь по своим литературным делам, брал сына с собой. Лева не был избалованным, не мешал взрослым, пока они разговаривали. Таким его запомнила Лида Чуковская: «Левушка-Гумилевушка <...> мальчик с золотыми волосами, кудрявый <...> у нас в столовой сам с собой играл в индейцев, прыгая с подоконника на диван».

Весной 1919 года Николай Степанович водил Леву к Ахматовой. Она тогда жила в квартире востоковеда В.К. Шилейко во флигеле Шереметевского дворца. К этому времени сам Лев Николаевич будет относить первое увлечение историей. Слушая разговоры взрослых, Лева обратился к Владимиру Казимировичу: «Научите меня по-вавилонски». «Маленький Левка бредил Гильгамешем», – говорил Шилейко.

Лев Николаевич вспоминал, как бабушка читала ему «Илиаду». Возможно, Гомера ему читал и отец. «Илиада» была настольной книгой Николая Степановича. Получается, увлечение историей Льва Гумилева начинается с Гомера и Гильгамеша. Почему бы и нет. В конце концов, это тоже история, пусть и сильно мифологизированная.

В тридцатые годы Гумилев будет рассказывать Руфи Зерновой, будто бы он еще в возрасте четырех – шести лет просил у отца толстые и сложные книги по истории. Когда девушка усомнилась, неужели четырехлетний малыш может прочесть толстую книгу, Лев самодовольно усмехнулся: прочел и всё понял.

4 апреля 1919 года семья переехала на улицу Преображенскую, дом 5/7, квартира 2. Здесь 14 апреля родилась дочь Николая Степановича и Анны Николаевны Энгельгардт (в замужестве Гумилевой) Елена.

Летом Анна Ивановна, Анна Николаевна и дети уехали в Бежецк. Николай Степанович на день-два, но довольно часто ездил навестить семью: «Левушка <...> водит гулять Леночку, как взрослый, оберегает ее и держит ее за ручку. Смешно на них смотреть, такие милые и оба мои дети. Левушка весь в меня. Не только лицом, но такой же смелый, самолюбивый, как я в детстве. Всегда хочет быть первым и чтобы ему завидовали», – рассказывал Гумилев Одоевцевой.

В последний раз отец и сын виделись в Бежецке в мае 1921 года, тогда Николай Степанович забрал в Петроград жену и дочь. Лева и Лена встретятся в Ленинграде только в марте 1928 года.

Из записей Павла Лукницкого: «Лена не узнала брата, но когда ей сказали, очень обрадовалась. Трогательно болтала с ним в течение часа, показывала ему книжки, игрушки».

11 марта 1938-го сотрудник внутренней тюрьмы НКВД со слов арестованного Гумилева заполнял анкету. Там, в частности, записано: «Гумилева Елена Николаевна, 18, учащаяся, ул. Бассейнова (так в тексте. – С.Б.) – ул. Некрасова (точного адреса не знает)».

В самом ли деле не знал или просто пытался отвести беду от сестры? Конечно, второе. Гумилев вспоминал, что не раз встречался «с Леночкой», когда уже окончательно обосновался в Ленинграде. Более того, изредка заходил к ней в гости: «...мы были в самых дружеских отношениях, хотя встречались, естественно, редко – она была много моложе меня».

Родственников у Льва Николаевича было немного, но он их ценил, дорожил связью с ними. Он легко оставлял друзей и возлюбленных, но до конца дней поддерживал отношения с Орестом Высотским, своим единокровным братом.

В конце тридцатых годов актриса и художница О.А. Гильдебрандт-Арбенина встретила на улице свою бывшую гимназическую подругу Аню Энгельгардт, в то время уже вдову Гумилева, «с дочкой Леночкой – высокой, белокурой, с размытыми бледно-голубыми, косящими глазами – акварельной, хорошенькой дочкой Гумилева».

Скромная и стеснительная Елена Гумилева перед войной работала в кукольном театре. Она умерла от истощения 25 июня 1942 года в блокадном Ленинграде. Незадолго перед этим она потеряла свои хлебные карточки.

Еще раньше, в апреле, от голода умерла Анна Николаевна Энгельгардт.

Бежецк

Бежецк расположен в 130 километрах к северо-востоку от Твери, на правом берегу реки Мологи при впадении в нее реки Остречины. Город очень старый, он возник еще в XIII веке (до второй половины XVIII назывался Городецко). Хотя к концу XIX века в городе работали двадцать шесть небольших заводов (главным образом по обработке льна, а также свечные, кожевенные, маслобойные, винокуренные), реки еще были чистыми, а городские окрестности славились густыми зарослями малины. Куст малины в серебряном поле украшает герб Бежецка.

«Там белые церкви и звонкий, светящийся лед...» С этой ахматовской строчки начинаются теперь все рассказы о Бежецке. В городе было тринадцать церквей, в том числе и очень старые: Воздвиженская и Введенская – обе XVII века. «И город был полон веселым рождественским звоном».

Лева успел еще застать и неразрушенные церкви, и колокольный звон. От церквей пошли названия многих улиц: Рождественская, Воздвиженская, Введенская. Центр Бежецка украшали купеческие особнячки, двухэтажные, каменные, с портиками, эркерами и даже кариатидами. Город был чистым, зеленым, уютным. Гумилевы сняли квартиру у М.Ф. Знаменской на Рождественской улице, 68/14. Дом был двухэтажным, деревянным на каменном фундаменте. Очень скоро улицу переименуют в Гражданскую (современное название – Чудова).

Сначала Гумилевы вместе с родственниками Кузьмиными-Караваевыми снимали весь второй этаж. Когда Караваевы уехали, у Гумилевых осталось три комнаты. Потом началось «уплотнение». В конце концов Анна Ивановна и Александра Степановна остались в одной угловой комнате. К этому времени Лева уже уехал в Ленинград.

Когда и как в Бежецке узнали о гибели Николая Гумилева? В записках Павла Лукницкого сохранилось очень странное свидетельство: «В Бежецке ни Анна Ивановна, ни Лева не знают о смерти Н<иколая> С<тепановича>. У них существует мнение, что он сейчас в Африке <...> на Мадагаскаре. <...> Когда Лева ленится, ему говорят: “А что ты папе покажешь, когда он вернется?”»

Но Лев Николаевич утверждал совсем другое: «Конечно, я узнал о гибели отца сразу: очень плакала моя бабушка, и такое было беспокойство дома. Прямо мне ничего не говорили, но через какое-то короткое время из отрывочных, скрываемых от меня разговоров я обо всём догадался».

Самым убедительным представляется свидетельство А.С. Сверчковой. Александра Степановна писала, что о гибели брата узнала из газет. Советские газеты читали все грамотные люди, так что утаить известие о расстреле участника контрреволюционного заговора было просто невозможно. Но некоторое, очень недолгое время могли скрывать от Левы.

Другое дело, что Анну Ивановну, по свидетельству Сверчковой, кто-то уверил, что «Николай Степанович не такой человек, чтобы так просто погибнуть, что ему удалось бежать, и он, разумеется, при помощи своих друзей и почитателей проберется в свою любимую Африку. Эта надежда не покидала ее до смерти».

Анне Ивановне особенно трудно было принять новую жизнь и новую власть, которой она не простила гибель сына. Среди ее знакомых преобладали люди «из бывших»: священник отец Иоанн (Постников), учитель А.М. Переслегин. И восприятие времени у нее было дореволюционным – в письмах к Ахматовой она датирует события по церковному календарю: на Страстной, на третий день Пасхи, на шестой день поста.

Анна Ивановна с недоверием относилась даже к достижениям советской власти – к бесплатному образованию и медицине. «Доктор и лекарства у нас бесплатны, вероятно на этом основании мы все и хвораем». В то же время она понимала, что Леве придется жить при большевиках. Анна Ивановна просила Ахматову «выправить» Леве метрику: «...если он записан

сын дворянина, то похлопочи, попроси, чтобы заменили и написали сын гражданина или студента, иначе и в будущем это закроет ему двери в высшее заведение...».

Анна Ивановна сделала для внука всё, что было в ее силах. Но жизнь младшего Гумилева наладится слишком поздно, слишком поздно придут к нему слава и успех. Анна Ивановна умрет в 1942 году в Бежецке, так и не дождавшись возвращения внука из лагеря.

Все годы жизни в Бежецке рядом слевой была Александра Степановна Сверчкова, тетя Шура. Ее образ в биографической и мемуарной литературе создан прежде всего усилиями Павла Лукницкого. А Павел Николаевич находился под влиянием Анны Ахматовой, он совершенно принял ее сторону. Анна Андреевна Александрю Сверчкову откровенно не любила. Это была упорная и совершенно иррациональная неприязнь.

Из записей Павла Лукницкого:

«АА расстроена. Ей грустно, что такой эгоистичный и с такими мещанскими взглядами на жизнь человек, как А.С. Сверчкова, воспитывает Леву. АА опасается, что влияние Сверчковой на Леву может ему повредить».

«А.С. Сверчкова: лживая, лицемерная, тщеславная, глупая и корыстная женщина. Ее влияние, несомненно, исключительно вредно. <...> Страшно и больно, что такой человек, как А.С. Сверчкова, находится в непосредственной смежности с Левушкой и старается на него влиять».

Авторитет великого поэта любую ложь превращает в истину, но справедлив ли суровый приговор Ахматовой и Лукницкого?

Александра Сверчкова прожила жизнь долгую и тяжелую (1869–1952). В раннем детстве она потеряла мать, умершую от чахотки, воспитывалась в пансионе для благородных девиц. В тридцать два года осталась вдовой с восьмилетним сыном и шестилетней дочерью. В ноябре 1918-го в двадцать два года умерла ее дочь Маруся. В марте 1919-го умер двадцатипятилетний сын Николай. Он ушел на мировую войну вольноопределяющимся, был тяжело контужен, отравлен газами.

Лева заменил ей сына, Сверчкова даже хотела его усыновить, дать свою фамилию. Леву Сверчкову было бы намного легче поступить в университет. Фамилия Сверчков не привлекла бы внимание следователя, оперуполномоченного, заведующего спецчастью.

После гибели Николая Степановича скромное жалование тети Шуры (62 рубля), учительницы начальных классов железнодорожной школы Бежецка, было основным источником существования всей семьи. Еще каждый месяц посылала 25 рублей Ахматова из своей пенсии. Но пенсию иногда задерживали. Выручал огород. Он находился за городом, отнимал много времени и сил.

У себя в бежецкой школе Сверчкова ставила музыкальные спектакли и сама сочиняла пьесы для детей.

Однажды Александра Степановна написала революционную пьесу для детей и привезла ее в Ленинград, решила показать Ахматовой. Мы не знаем, хороша ли была пьеса. Скорее всего, нет. Но в желании посоветоваться с Ахматовой нет ничего предвзятого. Все-таки они были свойственники. Настоящее представление разыгралось в Фонтанном доме. Анна Андреевна пробовала воспротивиться, знакомиться с творчеством Сверчковой было выше ее сил. Но Сверчкова не сдавалась. Тогда Ахматова призвала на помощь верного Лукницкого, тот явился незамедлительно по телефонному звонку и увел Сверчкову.

Вспомним бессмертную чеховскую «Драму». Антон Павлович просто оправдывает убийство графомана. Вот она, ненависть таланта к посредственности!

Литературный талант не связан с душевными свойствами человека. Недавно опубликованные письма Сверчковой к Ольге Николаевне Высотской совершенно разрушают образ, созданный Ахматовой и Лукницким. Перед читателем появляется добрая и бескорыстная женщина.

Из письма Александры Сверчковой к Ольге Высотской от 8 марта 1946 года:

«Дорогая моя, я очень рада нашему с Вами не только знакомству, но и родству. Вы – моя невестка, и Орик² – мой племянник, такой же, как и Лева, только Леву я воспитала, а Орика неожиданно нашла. <...> Нас всех соединяет любовь к брату, моему любимому брату, который был для меня и учителем, и другом».

Ей семьдесят шесть лет, она совершенно одинока. Она ничего не просит у племянника, не попрекает, напротив, только сочувствует ему.

«Милый мой мальчик! Воображаю, как много приходится ему заниматься, чтобы сдать государственный экзамен! Как он, бедный, устал после всего пережитого и только что вернувшись с фронта. Я рада, что Вы послали ему деньги, а я ничем, к сожалению, помочь ему не могу...»

И эту женщину Лукницкий с Ахматовой упрекали в корыстолюбии?! Письма Сверчковой отправлены дождановского постановления, Ахматова еще в славе. Ее печатают газеты, литературные журналы. Сверчкова всё это знает, но даже не пытается воспользоваться родством с известным человеком. Ей, «тщеславной» и «корыстной», даже в голову не приходит такое! «С Ан<ной> Анд<реевной> я никогда близка не была. Она слишком “велика” для меня и недоступна».

Лев Гумилев до поры до времени писал Сверчковой. Она сожалела, что пишет он мало, очень кратко, но тут же и оправдывала его: «Конечно, всё это глупости, пережиток старины, есть ли ему время писать старой тетке?»

«Старая тетка» воспитывала Леву с шести до семнадцати лет, до самого его отъезда в Ленинград. За это время Ахматова лишь дважды навестила Леву в Бежецке – на рождество 1921 года и летом 1925-го. Последний визит не был долгим.

У Анны Ахматовой и Николая Пунина были так называемые разговорные книжки, где они по очереди делали записи.

Из разговорной книжки, 21 июля 1925 года: «Завтра утром уезжаю в Бежецк <...> Когда меня здесь не будет, пусть и тебе не приходят дурные мысли, ты знаешь, как всегда горька мне разлука с тобой».

Из Бежецка Ахматова вернулась уже 26 июля. Я даже комментировать это не решаюсь. Пусть родственники сами выясняют отношения.

Анна Ивановна Гумилева никогда не жаловалась, что Ахматова не навещала Леву. Зато Инна Эразмовна Горенко мягко упрекала дочь. 15 октября 1924 года она пишет Ахматовой из поселка Деражня Подольской губернии, где жила у сестры: «Спасибо, Аничка, за обещание приехать сюда, но извини, детка, совсем ему не верю. Если в Бежецк ты подолгу не можешь собраться, то тем паче в такую глушь не заедешь». Она предлагает дочери на Пасху съездить в Бежецк вместе, повидать Левушку. Поездка не состоялась. Возможно, просто не нашли денег. Инна Эразмовна вместе с сестрой Анной Эразмовной жили почти без средств, натуральным хозяйством, к тому же сестры были немолоды. Тем не менее бабушка старалась порадовать внука, отправляла небольшие посылки.

Из письма И.Э. Горенко Анне Ахматовой 5 сентября 1925 года: «Дорогая моя детка! Поздравляю тебя, Аничка, с Днем рождения Левушки. Дай Бог ему здоровья и сил для учения. Послала ему вареных в сахаре груш, сушеных вишен и черешен. Не знаю, будет ли доволен?»

Ахматова в письмах к матери всё больше рассказывала о себе:

«Осень я провела в Царском, много гуляла в парке, чудесно отдохнула. Возможно, после рождества опять поеду туда на всю зиму. <...> Лева писал мне, что получил твое письмо и орешки».

Эгоцентризм гения, сосредоточенность Ахматовой на себе отмечали ее современники.

² Орест Николаевич Высотский – сын Николая Гумилева и Ольги Высотской.

Из дневника Корнея Чуковского. 24 декабря 1921 года: «...я впервые увидел, как неистово, беспросветно, всепоглощающе она любит себя. Носит себя повсюду, только и думает о себе – и других слушает только из вежливости».

Взаимное непонимание, отчуждение матери и сына намечается уже в двадцатые годы. Тогда Лева очень любил мать, нуждался в ее ласке, в заботе. Он ждал ее, каждый раз просил приехать хотя бы на Пасху и на Рождество. В холодности Ахматовой он винил только себя. Из письма Левы Гумилева Павлу Лукницкому, конец 1925 года: «Мама мне не писала с моего приезда, верно, я что-нибудь сболтнул, и она во мне разочаровалась».

Почтительность, удивительная для тринадцатилетнего подростка.

Воспитание дофина

С первых лет жизни маленький Лев оказался в центре внимания поэтов и поклонников Ахматовой и Гумилева. Уже тогда его называли «Левушка-Гумилевушка», «Гумильвеноч» и «дофин».

Из статьи Владислава Ходасевича «Гумилев и Блок»: «Гумилев тотчас отослал его – тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына».

Гувернеров у Левы Гумилева никогда не было. Волшебное царскосельское детство мальчика на леопардовой шкуре осталось в прошлом. «Жили мы бедно, сами возделывали грядки. <...> Я помогал бабушке: поливал и собирал навоз для удобрения», – вспоминал Гумилев.

У Коли Гумилева в детстве было много игрушек: рыцари, солдатики, сабли, мечи. В его комнате жили еж и морские свинки. Чтобы сыновья росли здоровыми, Степан Яковлевич купил имение Березки в Рязанской губернии. Митя и Коля Гумилевы ездили верхом, катались на велосипедах (редкость для тех лет), у них была малокалиберная винтовка «монтекристо».

Лева о собственном велосипеде и «монтекристо» только мечтал. В руках, правда, держать ружье приходилось и даже стрелять. Но не более того. Хотя в чем-то детские игры отца и сына были похожи.

«Я увлекаюсь индейцами. И у нас создается племя из четырех человек, в котором я состою колдуном, я вылечил вождя и тетю Шуру. Мы устраиваем индейскую войну солдатами, которых делаем сами», – писал Лева Ахматовой.

Лева устроил свой «музей естествознания». Ребята собирали для него камни, ракушки, листья, насекомых, скелеты рыб. В маленьких городках у детей есть свои радости. Летом Лева целые дни проводил на реке: плавал за кувшинками, нырял с плотов за ракушками, загорал. Зимой катался с крутых горок на санках и ходил на лыжах, воображая себя путешественником, исследователем Севера.

Кроме бабушки, тети Шуры и редко освещавшей своим сиянием тверское захолустье Ахматовой Леву воспитывал еще один человек. С его именем мы уже встречались.

Павел Николаевич Лукницкий до революции учился в Александровском кадетском корпусе, тогда же успел побывать во Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Греции.

Его отец – военный инженер, будущий доктор наук, еще в царской армии дослужился до полковника. Полковник царской армии – это почти что статья уголовного кодекса. Казалось бы, при советской власти Лукницких ждала незавидная судьба лишенцев. Но Николай Николаевич Лукницкий в СССР сделал карьеру – преподавательскую и военно-инженерную. А Павел Николаевич поступил на факультет общественных наук Ленинградского университета и, получив приличное гуманитарное образование, стал вести жизнь исключительно интересную, хотя и несколько странную. Он писал стихи, прозу, путевые очерки, а, главное, уже в двадцатые годы стал путешественником. Во второй половине двадцатых и все тридцатые годы он почти не пропускал экспедиционных сезонов. Сначала были горный Крым и Кавказ, потом Туркмения и, конечно, Памир, где Лукницкий даже открыл горную вершину, Заполярье, Казахстан, Сибирь и вновь Памир. Многие из этих экспедиций наводят на размышления. На Памире Лукницкому приходилось бывать в пограничной зоне. Таджикистан тогда кишел басмачами. Попастъ в экспедицию мог профессионал, допустим, геолог или врач, но Лукницкий был поэтом. Возможно, в научных экспедициях Павел Николаевич вел особую, скрытую для его товарищей работу.

В конце шестидесятых Гумилев уже был уверен, что Лукницкий служил в «органах». Его подозрения подкрепила этнограф Т.А. Крюкова, давний друг Льва Николаевича. Будто бы Лукницкий был следователем НКВД и допрашивал ее в 1925 году. На самом деле в 1925 году Татьяна Крюкова жила в Праге, училась в Карловом университете. Арестуют ее только

в 1928 году. И НКВД в 1925-м еще не существовал, тогда было ОГПУ. Но подозрения все-таки не рассеиваются. Рассказ Крюковой сохранился в передаче Натальи Викторовны Симоновской-Гумилевой, жены Льва Николаевича. Она могла перепутать и название спецслужб, и даты, но вряд ли перепутала бы фамилии. В 1928-м Лукницкий вполне мог допрашивать Татьяну Александровну. Наконец, бывший генерал КГБ Олег Калугин прямо назвал Павла Лукницкого «агентом ОГПУ» и сослался на его донесения.

Но всё это откроется только много лет спустя. А тогда, в двадцатые годы, Павел Николаевич стал другом, помощником, наставником Левы. Молодого Гумилева Лукницкий не мог не привлекать: человек умный и отважный, поэт, путешественник, друг Ахматовой, уже в двадцатые годы собиравший материалы о жизни Николая Гумилева. А Лева, окруженному исключительно женским обществом, не хватало мужчины-наставника. Лукницкому казалось, что Лева слишком робок, мягок, стеснителен, и Павел Николаевич пытался как-то помочь ему. Видимо, не без успеха. Когда Лева вырастет и станет Львом Николаевичем, ни один друг, знакомый или коллега не найдет в нем и следа детской нерешительности и робости.

Лева дорожил мнением Лукницкого, присылал ему свои новые сочинения. Лукницкий, в свою очередь, показывал Лева Ленинград, водил в Эрмитаж, в театры, в кинематограф, на спортивные соревнования. Они катались на лодке и на велосипеде. Ахматова была благодарна Лукницкому, она ведь часто не знала, что делать с повзрослевшим сыном, как с ним разговаривать.

В июне 1926 года Анна Ивановна с Левой приехали в Ленинград. Остановились, как обычно, у Кузьминых-Караваевых на Фурштатской, 11. Пришли навестить Ахматову, которая жила тогда еще в квартире В.К. Шилейко, в служебном корпусе Мраморного дворца. Ахматова очень обрадовалась дорогим гостям, но уже пять минут спустя Лева ушел с Лукницким в музей.

Конечно, Анна Андреевна любила Леву, но не умела помочь ему в жизни. Поэтому она впадала то в одну, то в другую крайность. Иногда испытывала необъяснимый, панический страх за него. Как-то Лева попросил у нее разрешения (он всегда просил разрешения у мамы или у бабушки) покататься с Лукницким на лодке. Из записей Павла Лукницкого, 17 июля 1926 года: «АА дико восстала – каждый день столько тонет. Вы сумасшедший...»

С другой стороны, она сыну не потворствовала и приучала к мысли: надо рассчитывать только на себя. В ноябре 1934 года, когда молодой Лев несколько лет как жил в Ленинграде, Ахматова оставила сыну записку: *“Una salus nullam sperare salutem. A. (ad usum delphini)”* («Единственное спасение – не надеяться ни на какое спасение. А. (дофину для пользования)»). Мы не знаем, чем была вызвана записка – жалобами ли Льва на трудности в университете, или чем-то еще, не в этом главное. Ахматова принципиально не баловала сына.

Была еще одна болезненная история, разделившая Леву и Ахматову. Стихи. Ими был переполнен дом Гумилевых в Царском Селе. Лева слышал их, наверное, раньше колыбельной песни. Как и отец, Лева начал сочинять очень рано и, конечно, отцу подражал. Ахматовой не нравилось увлечение сына экзотикой. Пусть пишет не о пиратах, не о древних греках, не о норманнах. Ахматова хотела, чтобы сын увидел поэзию в окружающем мире, в русской природе. Ей ведь и поэзия Николая Гумилева не нравилась по той же причине. Ахматова не увидела в стихах младшего Гумилева большого поэтического дара. А судьбы посредственного поэта она ему, конечно, не желала. Ахматова поставила диагноз верно, а для лечения, очевидно, выбрала радикальное средство.

Из письма Льва Гумилева Павлу Лукницкому (получено 5 января 1926 года): «Мне как начинающему особенно было интересно узнать, какого мнения о них мама, но из ее слов я понял, что из меня ничего хорошего не выйдет. Видя, что в поэты я не гоюсь, я решил со стихами подождать, я сам понимаю, что я должен писать или хорошо, или ничего».

В начале шестидесятых, когда к Ахматовой, давно признанному живому классическому, обращались многочисленные графоманы, она щадила их самолюбие.

Анатолий Найман в «Рассказах об Анне Ахматовой»: «...она старалась не обидеть и говорила что-нибудь необязательное, что из ее уст могло быть воспринято как похвала. <...> “В ваших стихах есть чувство природы”. <...> “Белые стихи писать труднее, чем в рифму”. <...> “Это очень ваше”. <...> “В ваших стихах слова стоят на своих местах”».

Но это были чужие люди, а Лева-то свой, и она думала о его будущей судьбе.

Три школы и университет в березовой аллее

Двадцатые годы XX века – смутное время для отечественного школьного образования. Разрушали старую дореволюционную систему, насаждали смелые эксперименты вроде комплексного обучения или бригадного. Но вопреки разгулу опасных стихий педагогического свободомыслия детей все-таки учили географии, арифметике и родному языку.

Лева учился в трех школах Бежецка. Сначала во 2-й советской. Она занимала половину двухэтажного краснокирпичного здания бывшей женской гимназии. В другой половине разместили педагогическое училище. После реорганизации Бежецкого реального училища во 2-й советской оказалось много бывших «реалистов», известных в городе буйными нравами. В школе, по воспоминаниям одноклассницы Левы Дины Флейшман, стало «очень страшно». Ей запомнились «буйствующие мальчишки», от которых она даже пряталась за печку.

Можно себе представить, как относились малолетние соловьи-разбойники к домашнему мальчику, который девочек называл на «вы». Кроме того, на нем уже было клеймо сына расстрелянного контрреволюционера: «В школе положение было сложным, ибо началось гонение на людей с “происхождением”, но это еще не “травля”, а просто неодобрение», – писал Гумилев.

Вскоре, однако, травля началась: «Плохо было очень в школе, просто убивали меня», – вспоминал Гумилев. Лев Николаевич даже назвал имя обидчика, от которого ему больше всего доставалось, – Колька Москвин. К несчастью для юного Левы, учитель Кирсанов встал на сторону обидчика, так что Гумилеву не приходилось уповать и на помощь взрослых.

Эти события скорее всего относятся к учебе в шестом классе, потому что именно в это время тетя Шура перевела племянника в железнодорожную школу, где сама работала. Однако и там отношения с одноклассниками у Левы не сложились.

«Держался Лева особняком. Мы все были пионеры-комсомольцы, он никуда не вступал, на переменах, когда все играли, стоял в стороне. Через 2–3 месяца тетка перевела его в другую школу», – вспоминал бывший одноклассник Гумилева Б.П. Тарасов.

С 1926-го по 1929-й Лева учился в 1-й советской школе. Дети стали старше и умнее. Теперь одноклассники могли оценить редкие способности Левы Гумилева, его начитанность, прекрасную память и литературный талант.

Для школьной газеты «Прогресс» Гумилев писал фантастические и приключенческие рассказы: «Ужас лунной ночи», «Тайна морской глубины». За последний Гумилев даже получил денежную премию ШУСа (школьного ученического совета).

Кроме того, Лева был прилежным читателем бежецкой библиотеки. Несомненно, эта библиотека была одним из самых любимых его мест в Бежецке. Много позже он напишет в эссе «Биография научной теории, или Автонекролог»: «К счастью, тогда в маленьком городе Бежецке была библиотека, полная сочинений Майн Рида, Купера, Жюль Верна, Уэллса, Джека Лондона и многих других увлекательных авторов. <...> Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Конан Дойла, Вальтера Скотта, Стивенсона. Чтение накапливало первичный фактический материал и будило мысль».

Лев Гумилев в библиотеке даже выступал с докладами о современной русской литературе и руководил литературной секцией в Клубе друзей книги. Известны дата и тема его последнего доклада. Присутствовали шесть человек.

Из протокола собрания Клуба друзей книги от 21 июля 1929 года:

«Повестка дня

1. Литературные течения XX в. докл. т. Л.Гумилева».

Льву тогда задали один вопрос: «К какой группировке принадлежит поэзия Мандельштама?»

У молодого Гумилева были и замыслы романов: «Атлантида», «Подземное царство», «Новый астероид». Он не успел их написать – не хватило времени. Если стихи Гумилев будет писать еще очень долго, то к прозе вернется только в 1941 году, в Норильском лагере.

В это время у Гумилева появился еще один наставник – преподаватель литературы и обществоведения А.М. Переслегин. Переслегин и Сверчкова тогда дружили, так что пути Левы и Александра Михайловича пересеклись неизбежно. Переслегин преподавал и в железнодорожной, и во 2-й советской. Слевой он занимался и вне уроков. Подобно древним перипатетикам, Переслегин и молодой Гумилев беседовали о философии и литературе во время прогулок. В березовой аллее Александр Михайлович читал лекции своему ученику. Переслегин был человеком не только широко образованным, но и увлеченным. Б.П. Тарасов, простой советский парень, будущий шофер, вспоминал Переслегина с уважением: «Всем в своей жизни я обязан Александру Михайловичу Переслегину <...> он зажег во мне искру Божию».

«Александр Михайлович был европейски образованным человеком. Им мог бы гордиться любой университет», – говорил Лев Гумилев, к тому времени уже защитивший две докторские диссертации.

У Льва Гумилева были известные учителя: член-корреспондент Академии наук Якубовский, профессора Кюнер и Артамонов, – но рядом с ними надо поместить имя скромного учителя бежецкой школы, ведь он оказал на Гумилева влияние в самые важные, драгоценные для учебы годы. Лекции в березовой аллее Гумилев еще не раз вспомнит: «Этих незабываемых бесед мне хватило не только на сдачу экзаменов по философии в университете и в аспирантуре, но и на всю оставшуюся жизнь».

Гумилев сохранил о Переслегине добрую память. В шестидесятые Лев Николаевич будет посылать ему в Бежецк отписки своих статей. Их переписка продлится до самой смерти Александра Михайловича (в 1972 году) – случай необычайный для Льва Николаевича, ведь он нередко забывал о старых друзьях и помощниках.

Вкус к литературным занятиям Гумилев унаследовал от родителей. Первые знания о философии принес ему Переслегин. Интерес к исторической науке был у Гумилева природным.

«Это от Бога», – не раз говорил Лев Николаевич.

Любовь к истории заметна даже в самых ранних стихотворениях Льва Гумилева. Впрочем, слово «любовь» здесь не совсем на месте. История – это воздух, которым он дышит. Это способ мировосприятия. Даже в стихах о речке Мологе у Гумилева появляются хазары, татары, монголы, древние финны:

Здесь лося бил из лука финн,
Не сеял здесь ржаное семя
Лесов дремучих властелин.
Бывало, из варяг в хазары
К далеким чуждым городам
Купцы везли свои товары
По разливым твоим водам...

Гумилев писал о битве при Йорке и битве при Гастингсе, а еще раньше, в 1924 году, одиннадцатилетний Лева пытался написать «нечто вроде драмы в стихах из рыцарских времен в Бретани». В это время одноклассники Левы не то что средневековой Бретанью, но и современной Британией вряд ли интересовались. Им просто неоткуда было узнать о Харальде Саксонском и Вильгельме Завоевателе, о Карле Мудром и Дюгеклене. Историю в школе не преподавали, ее заменяло обществоведение.

Историю Лева учил самостоятельно, по гимназическим учебникам. Они были подробными, а вся прелесть истории – не в схемах, а в исторических фактах. Сумасбродства Карла Безумного и ярость Фридриха Барбароссы, мудрость Филиппа Августа, мнимые или подлинные преступления тамплиеров – что может быть интереснее?

С первых школьных лет Лева совершенно не давалась математика. Чрезвычайно любопытны его письма к Ахматовой. Они оригинальны, образны, художественны: «Только арифметика мой враг, и с ним сражаюсь, бывают мелкие стычки и большие бои. Сегодня я выиграл бой, но проиграл несколько стычек!»

Из письма Льва Гумилева Павлу Лукницкому от 20 декабря 1926 года: «Дела мои по школе вовсе не блестящие: у меня два незачета, по геометрии и по физике. <...> Признаюсь, поленился и жестоко наказан».

В начальной школе с Левой занимались тетя Шура и бабушка, но в старших классах они уже не могли ему помочь. Ахматова как-то даже отправила 15 рублей, чтобы Лева мог взять хоть несколько частных уроков математики.

Практичная тетя Шура советовала Лева после школы поступать в Бежецкий педагогический техникум, но Ахматова об этом и слышать не хотела: только университет или педагогический институт.

Гумилев еще не раз вспомнит город своего детства добрым и недобрым словом. А тогда, осенью 1929-го, он уезжал к матери в Ленинград с легким сердцем и большими надеждами.

Фонтанный дом

Образ Фонтанного дома в мемуарах неизменно двойится: Шереметевский дворец, «сиятельный дом», «Дом поэта» и просто ленинградский адрес: Фонтанка, 34, кв. 44, скромное жилище в миру Анны Андреевны Ахматовой. Здесь, в южном флигеле дворца, в служебной квартире своего гражданского мужа, искусствоведа и сотрудника Русского музея Николая Николаевича Пунина она прожила много лет. Пройдя через кружевные чугунные ворота и вестибюль дворца, посетитель попадал во внутренний двор, где росли старые, еще шереметевские липы, «будто из ее стихов или пушкинских». И вдруг... обшарпанный флигель. «Я поднялась по черной, трудной, не нашего века лестнице, где каждая ступенька за три <...> ободранности передней, где обои висели ключьями, я как-то совсем не ждала <...> Кухня, на веревках белье, шлепающее мокрым по лицу <...> Коридорчик после кухни и дверь налево – к ней», – вспоминала Лидия Чуковская.

Тот же контраст впечатлений остался в памяти Руфи Зерновой: «“Фонтанный дом”. Это получалось вроде Бахчисарайского фонтана, загадочно, красиво, с нежным поворотом полугласных “н”». Но дворец показался ей «огромным грязным домом с огромным темным двором».

Лев Гумилев приехал в Ленинград в начале сентября или в конце августа 1929 года, ему еще не исполнилось и семнадцати лет. Вероятнее всего, ни Ахматову, ни Пунина он не застал дома. Николай Николаевич провел сентябрь 1929-го на Черном море, в Хосте, Анна Андреевна лечила астму в Крыму, в Гаспре. Впрочем, она могла и встретить Леву, провести с ним несколько дней, а затем уехать. Свидетельств не осталось, можно только предполагать. Первый месяц своей ленинградской жизни Лев провел в обществе восьмилетней Ирины Пуниной и ее матери, первой жены Пунина, Анны Евгеньевны Арнс.

Эмоциональный и еще совсем юный Лев, сменивший провинциальный Бежецк на Ленинград, видимо, был счастлив. 19 сентября 1929 года Пунин из Хосты пишет Ахматовой: «Вчера была от Левы и Иры открытка. Лева чего-то ликует, вероятно, оттого, что его никто не пугает». Не знаю, для чего Пунину было «пугать» Леву, который, вероятно, просто опьянел от осеннего ленинградского воздуха. Как не опьянеть: ведь бедный провинциал Лева жил теперь в самом центре Ленинграда, с его музеями, библиотеками, театрами, с его институтами наконец!

Для Левы это был город его отца, а сам Николай Степанович Гумилев, мир повидавший, некогда уверял: «Петербург – лучшее место земного шара». «...В Городе я чувствую себя как в сказке», – писал Лев. Ленинград навсегда останется для Льва Гумилева любимым, родным городом. Даже ленинградские тюрьмы он будет предпочитать всем прочим тюрьмам и лагерям Советского Союза.

«Лучшего места на земле нет», – напишет он Сергею Лаврову четверть века спустя. Ленинграду будет посвящать свои стихи:

Когда мерещится чугунная ограда,
И пробегающих трамваев огоньки,
И запах листьев из ночного сада,
И темный блеск встревоженной реки,
И теплое, осеннее ненастье
На мостовой, среди искристых камней,
Мне кажется, что нет иного счастья,
Чем помнить Город юности моей.
Мне кажется... Нет, я уверен в этом!
Что тщетны грани верст и грани лет,

Что улица, увенчанная светом,
Рождает мой давнишний силуэт,
Что тень моя видна на серых зданиях,
Мой след блестит на искристых камнях.
Как город жив в моих воспоминаньях,
Как тень моя жива в его тенях.

Правда, эти стихи он сочинит в Норильске.

Для нищего и бесправного зэка прекрасный и величественный «град Петров» был воспоминанием о прошлом, в сравнении с лагерной жизнью относительно благополучным. Между тем 1929 год был для Ленинграда тяжелым и мрачным. Веселые времена нэпа прошли, вновь ввели карточки на продукты, появились забытые со времен военного коммунизма хвосты очередей. Гумилев не мог оценить нищету и убожество тех лет, но практически одновременно с ним в Ленинград приехал Игорь Дьяконов, будущий знаменитый востоковед. Игорь был всего двумя годами моложе Льва, но прибыл он не из бедной тверской провинции, а из Норвегии, где прожил несколько лет, учился в норвежской школе, не раз бывал и в соседней Швеции. Неудивительно, что его первые ленинградские впечатления отличались от гумилевских.

Город стоял «обнаженный, некрашенный и мрачный», привыкшего к европейскому уюту молодого человека угнетали «убогие пригороды, красные трамвайчики, низкий и захолустный Финляндский вокзал». В то время как раз закрывались последние частные лавки, исчезали или превращались в артели сапожные, портняжные, часовые мастерские. «На полках кооперативов было пустовато, а то и совсем пусто, и часто на требование дать товар – с полки ли, или с витрины – следовал лаконичный и мрачный ответ: “Бутафория”». Брат Игоря Михаил встретил вернувшихся из Скандинавии родителей и брата словами: «В Ленинграде голод».

Голод в Ленинграде рубежа двадцатых – тридцатых – преувеличение. Вероятнее, речь шла о постоянном недоедании и вообще о скудости жизни. Свидетельств тому множество, почитайте хотя бы переписку Лидии Корнеевны Чуковской с отцом, Корнеем Ивановичем. Семейство Чуковских «стояло на ногах» намного крепче, чем юный Гумилев, но даже Чуковским постоянно не хватало средств на рубашки и носки, вечной головной болью были дрова. В огромном, почти столичном городе на протяжении нескольких лет не хватало ни товаров, ни денег: «У Марины нет ни копейки. <...> Коля ходит с чеком в 400 р. в кармане, по которому банк не платит. У меня сейчас ровно 10 к. <...> Цезарю не заплатили в Институте жалования... <...> Дело не в том, что у твоих детей мало денег... а в том, что *в городе нету денег* (курсив Л.К. Чуковской. – С.Б.), их невозможно достать. <...> Денег нет ни у кого, все в таком же положении, как и мы».

Десятки тысяч людей бежали из деревни, где уже раскулачивали, в города, началась новая волна «уплотнений», росло население коммуналок. Такой коммуналкой была и квартира Пунина. В одной комнате жила Ахматова, в другой Анна Евгеньевна с дочерью Ириной, у Николая Николаевича был кабинет; наконец, еще одну комнату до войны занимала рабочая семья Смирновых. Место Лева нашлось только в коридоре на деревянном сундуке. Своя комната появится у него лишь после войны.

23 сентября 1929-го Анна Евгеньевна пишет Пунину: «Лева смешит своею детскостью и пугает ленью и безалаберностью. Учю и дисциплинирую как умею». Вернувшийся с Кавказа Пунин вскоре положит этой вольной жизни конец и устроит Леву в 67-ю единую трудовую школу, где директором был Александр Николаевич Пунин, брат Николая Николаевича. Ее предшественница – классическая 10-я гимназия, открытая на 1-й Роте (к 1929 году уже 1-й Красноармейской) в начале XX века. Сейчас это 272-я гимназия Адмиралтейского района. Так, не без помощи Пунина, Лев еще раз закончит девятый класс – уже в ленинградской школе – и подготовится к институту.

Пунин

Биографы Льва Гумилева относятся к Пунину с неизменной враждебностью. Пунина изображают скаредным и бесчувственным человеком, который унижал Анну Андреевну, а Леву попрекал куском: «Что же ты хочешь, Аня, мне не прокормить весь город!» Он не стеснялся сказать за столом при Анне Андреевне и Леве: «Масло только для Иры».

Биограф и друг Льва Николаевича Сергей Лавров даже поставил в вину Пунину «донос» на Николая Гумилева – заметку в газете «Искусство коммуны». В этой несчастной заметке Пунин, тогда заместитель Луначарского, народного комиссара просвещения, встречу с Гумилевым «в советских кругах» отнес к проявлениям «неусыпной реакции, которая то там, то здесь да и подымет свою битую голову».

Неосведомленный читатель только подивится: как же это могла Ахматова столько лет жить с таким чудовищем?

Эпиграфом к «пунинской» главе Лавров избрал слова из дневника Николая Николаевича: «Если бы я не был так ничтожен... <...> Но я труслив, слаб и изворотлив...» Образ создан. Но стоит вспомнить, где и когда появилась эта запись, как меняется всё. 15 октября 1941-го, блокадный Ленинград. Немолодой мужчина в осажденном, голодном городе размышляет о жизни, о наступающей старости: «Я встречаю ее в фантастическом пространстве войны. Я – один в мире и вместе с тем как будто не один. Рядом она – суровый сторож моей жизни. Перед ее непреклонностью я чувствую себя лживым мальчишкой, и помню, и вижу, как нечисто живу». Трагическая фигура этого незаурядного человека сбивает внимания читателя.

Как известно, Ахматова и Пунин познакомились еще в 1913 году в редакции журнала «Аполлон». Ахматова окончательно переехала к Пунину в 1925 году. Разошлись они в 1938-м, но и позднее продолжали жить под одной крышей, пусть и вынужденно. Ахматову всегда окружали талантливые мужчины – от Николая Гумилева, Амедео Модильяни и Владимира Шилейко до Исайи Берлина, Иосифа Бродского, Арсения Тарковского. Но даже на их фоне Пунин не теряется. Биографы Ахматовой к Пунину гораздо снисходительнее. Современники ставили его очень высоко. «Умный, желчный, блестящий человек», – напишет о нем Надежда Яковлевна Мандельштам.

Психологический портрет Пунина в историко-литературном контексте оставил искусствовед Всеволод Петров:

«Николай Николаевич Пунин был похож на портрет Тютчева. Это сходство замечали окружающие: А.А. Ахматова рассказывала, что когда, еще в двадцатых годах, она приехала в Москву с Пуниным и они вместе появились в каком-то литературном доме, поэт Н.Н. Асеев первый заметил и эффектно возвестил хозяевам их приход: “Ахматова и с ней молодой Тютчев!”

С годами это сходство становилось всё более очевидным: большой покатый лоб, нервное лицо, редкие, всегда чуть всклокоченные волосы, слегка отвислые щеки, очки.

Сходство, я думаю, не ограничивалось одной лишь внешностью; за ним угадывалось какое-то духовное родство.

Оба – великий поэт и замечательный критик – были романтиками.

Оба более всего на свете любили искусство, но вместе с тем стремились быть, в какой-то степени, политическими мыслителями.

...Самой характерной чертой Пунина я назвал бы постоянное и сильное душевное напряжение. Можно было предположить, что в его сознании никогда не прекращается какая-то трудная и тревожная внутренняя работа. Он всегда казался взволнованным. Напряжение находило выход в нервном тике, который часто передергивал его лицо...»

Студенты же боготворили своего профессора: «Култ Пунина был частью, “подкультом” Искусства, ну, скажем, наподобие почитания Моисея в иудаизме, – пишет Борис Бернштейн. – В наших глазах Пунин был пророком, посвященным, жрецом Искусства – не по должности, не по многознанию, а по дарованному ему откровению и благодати. Он был там, в сакральном пространстве, куда нам, смотри – не смотри, учи – не учи, читай – не читай, входа нет, хорошо уже то, что мы можем слышать его речи – оттуда. Мы слушали эти речи, где бы он их ни произносил, кому бы ни предназначался курс, была ли это лекция, семинар или что другое, внеакадемическое, – мы бежали на звук пунинского голоса».

«Он удивительно понимает стихи, – говорила Ахматова. – Он так же хорошо слышит стихи, как видит картины». Вероятно, Пунин лучше других понимал Ахматову, потому их союз и оказался так долгов.

Но для молодого Льва Пунина остался холодным и неприятным человеком: «Морду надо бы набить прохвосту», – писал Лев Николаевич много лет спустя, когда Пунина уже не было в живых. Гумилев будет проклинать Пунина до конца своих дней.

В дневниках Пунина имя Львы встречается нечасто, Пунин пишет о нем немного и довольно сдержанно: «Лева Гумилев проехал на фронт», «приехал с фронта Лева Гумилев». И так почти все записи о Льве. Поразительная для нервного и впечатлительного Пунина невозмутимость. И это тот самый Пунин, что будет долго и горестно оплакивать безвременную кончину кошки Андромеды!

Отношения усугубляла и скупость Пунина, известная нам не только по запискам Лидии Чуковской, интервью Льва Гумилева и мемуарам Эммы Герштейн, но и вот по этому документу.

6 сентября 1921 года Пунина, тогда комиссара Русского музея, освободили из-под стражи. Казалось бы, вырваться из застенков ЧК, где только что погиб Николай Гумилев, уже само по себе величайшее счастье. Но счастье Пунина было омрачено одним обстоятельством, о котором он поведал в своем заявлении к члену Петросвета товарищу Богданову:

«При освобождении 6 сентября мне не были возвращены подтяжки, так как их не могли разыскать. Вами было дано обещание разыскать их к пятнице 9-го. Если они разыскались, прошу выдать. На подтяжках имеется надпись “Пунин” (камера 32)».

Случай, достойный пера Зощенко. И вот этот человек еще до приезда Львы содержал дочку и двух жен.

С осени 1929-го на попечении Пунина оказался взрослеющий юноша, совершенно ему чуждый. Как же он мог относиться к Леве, который, даже переселившись к своему другу Акселю Бекману, продолжал столоваться у Пунина? Эти обеды назывались «кормление зверей».

На обед приходили и гости – Павел Лукницкий или приехавшая в Ленинград Эмма Герштейн. Прогнать их было нельзя, но денег на широкое застолье не хватало, а потому «...Николай Николаевич угрожающе рычал (ему казалось, что Лукницкий и Лева брали с блюда слишком большие куски жаркого): “Павлик! Лева!”».

Неожиданное для профессора изящных искусств сочетание рачительности с природной экспансивностью не раз становилось поводом для шуток. Николай Харджиев прозвал Пунина «сумасшедшим завхозом».

К 1937 году, когда Ахматова лишилась своей персональной пенсии, которую прежде получала «за заслуги перед русской литературой», отношения стали еще хуже. Атмосфера в Фонтанном доме была перенасыщена электричеством. Николай Николаевич сидел в красном халате и раскладывал пасьянс. Анна Евгеньевна подавала реплики («как ножом отрежет», по словам Герштейн), от которых, вероятно, вздрагивали даже гости. «“А за такие слова вам дадут десять лет”, – раздался мрачный голос Анны Евгеньевны с другого конца стола».

Часть II

Первый бастион

Первый ленинградский год жизни Гумилева освещен источниками хуже всего. Лев оказался на содержании матери и Пунина, но по мере сил пытался «отработать» свой хлеб: колол дрова, носил их вязанками из сарая в квартиру, топил печь, ходил за продуктами.

Лева учился в школе, Пунин иногда помогал ему готовить уроки. Жили очень бедно, в декабре 1929-го Павел Лукницкий записал в дневнике: «А.А. живет по-прежнему тихо и печально. Холод в квартире, беспросветность и уныние. Встречи нового года не будет – нет ни денег, ни настроения».

Начало лета отмечено важным событием: Гумилев оканчивает школу и подает документы на немецкое отделение педагогического института. Гумилев-германист – какой странный мираж. Позднее у Гумилева не будет особого интереса к Германии. Но тогда он готовился заранее, полгода учил немецкий язык на специальных курсах, хотя смысла в этом не было: до середины тридцатых поступать в вуз было легко и приятно. Вступительные экзамены давно отменили, за учебу платы не брали, абитуриент должен был принести в институт или университет только свою автобиографию, фотокарточку и на месте заполнить анкету, но именно анкета и становилась барьером, фильтром, который не должен был подпускать к высшему образованию детей лишенцев и контрреволюционеров.

С удовольствием принимали в институты крестьянских (не кулацких!) детей, детей рабочих и... детей научных работников – их приравнивали к рабочим. Путь в институт открывала именно «хорошая» анкета, точнее – хорошее социальное происхождение, а происхождение у Гумилева было чудовищным. Не внебрачный сын Николая Романова, конечно (несколько лет назад в газете «Московский комсомолец» появилась и такая забавная «версия»), но все-таки сын контрреволюционера с довольно громкой фамилией.

В институтах и университете происхождение проверяла так называемая секретная часть, которая могла послать запрос в ГПУ: уточнить происхождение, род занятий, выяснить, нет ли на абитуриента компрометирующих материалов.

В педагогическом у Льва даже не приняли документы. В июне 1929-го Ахматова с Ирой Пуниной уехали на дачу Валерии Срезневской, а Гумилев вернулся в Бежецк к бабушке. Пунин, если верить воспоминаниям Гумилева, даже требовал, чтобы Лев уехал в Бежецк. Но из этих воспоминаний, надиктованных Гумилевым на магнитофонную пленку в сентябре 1986 года, неясно, заставлял ли он Гумилева вернуться в Бежецк летом 1930-го, после неудачной попытки поступить в институт, или же осенью 1930-го.

О чем он думал тогда, о чем мечтал, предположить несложно. Высшее образование, доступное малограмотному рабфаковцу, превратилось для Гумилева в труднодостижимую вершину, в крепость, которую не удалось взять приступом. Но уже осенью 1930-го он приступит к ее планомерной осаде.

Как солдат штрафного батальона искупает вину кровью, так сын буржуа или аристократа должен был «перевариться в рабочем котле» – получить рабочий стаж, стать настоящим пролетарием. И Гумилев стал рабочим.

В любой сколько-нибудь подробной биографии Гумилева читатель прочтет, что первым рабочим местом его была «Служба пути и тока», где восемнадцатилетний Лев трудился разнорабочим.

Тридцать лет спустя, заполняя в Государственном Эрмитаже личный листок по учету кадров, Гумилев написал, что работал в «Службе пути и тока» с 1 октября по 1 декабря

1930 года. Составители сборника воспоминаний о Гумилеве «Живя в чужих словах чужого дня» М.Козырева и В.Воронович датируют работу Гумилева в «Службе пути и тока» ноябрем-декабром 1930-го. А что было прежде?

В фондах Музея Ахматовой хранится интереснейший документ. Это письмо Сергея Александровича Кузьмина-Караваева, внучатого племянника Анны Ивановны Гумилевой. Оно датировано 8 августа 1975 года, отправлено не на домашний адрес, которого Кузьмин-Караваев не знал, а на адрес Ленинградского университета, адресовано «профессору истории гуннов Льву Николаевичу Гумилеву». В этом письме Кузьмин-Караваев, которому шел в то время девяносто первый год, просит пристроить в «Археологический институт» или хотя бы взять на «археологические работы» своего пасынка (от третьего брака). Прежде Кузьмин-Караваев не слишком интересовался судьбой Гумилева, а потому попытался оправдаться и даже напомнил Льву Николаевичу о своей давней услуге. Цитирую, сохраняя авторскую орфографию и пунктуацию: «Вас вероятно чрезвычайно удивит письмо – ведь я никогда не писал – но это не означает, что я не помнил, что у меня есть племянник Лева, которого по окончании школы в Бежецке в 1930 г. я взял на завод им. Свердлова в Лгр., где я в то время руководил отд. реконструкции, но чертежные работы тебя не устраивали и ты ушел с завода».

Завод имени Свердлова находился на Васильевском острове. Там выпускали и ремонтировали металлообрабатывающие станки, прессы, паровые машины. Сейчас этого завода уже нет. Несколько лет назад он обанкротился, предприятие закрыли, а хорошо известный бренд «Станкостроительный завод “Свердлов”» выкупил кировский «Станкомаш». А тогда, на рубеже двадцатых и тридцатых годов, на этом уже старом, основанном еще в шестидесятые годы XIX века заводе как раз проводили модернизацию, и Гумилев должен был внести и свой вклад в советскую индустриализацию. Сразу после школы Гумилев поступить на завод не мог, весной 1930-го у него были другие планы. Значит, остается сентябрь 1930-го. Но, должно быть, занятие, которое Кузьмин-Караваев нашел для своего «племянника», было для молодого Льва чуждо, скучно и непереносимо, раз он предпочел работе в отопляемом цеху труд чернорабочего на окраине города.

Но вот только на какой окраине? Сергей Лавров и Ольга Новикова, не только биографы Гумилева, но и его друзья, со слов самого Льва Николаевича утверждали, что работал Гумилев в Парголово. Более того, Ольга Новикова рассказывала мне, что сам Лев Николаевич в последние годы жизни прощался с городом и показывал ей места, где жил или работал, в том числе и Парголово. Новикова восстановила приблизительный путь Гумилева до рабочего места. Он садился на трамвай № 20, который шел от площади Лассаля (нынешней площади Искусств) до конечной станции Озерки. Отсюда до работы Гумилеву оставалось идти еще два километра. Его рабочее место находилось дальше, в поселке Парголово 1-е, где началось строительство нового трамвайного кольца. Здесь, в деревянной будке, переделанной из старого трамвайного вагона, и размещалось отделение «Службы пути и тока», где Гумилев трудился чернорабочим.

Но вот в беседе с ленинградским публицистом Львом Варустиным, опубликованной журналом «Аврора» еще при жизни Льва Николаевича, в ноябре 1990 года, назван другой номер трамвая – 19-й – и совсем другой район – Полюстрово. В пользу этой версии говорят и некоторые живые подробности, детали быта, о которых рассказал Варустину Гумилев. Во-первых, наводит на размышления сама будка, переделанная из трамвайного вагона. В 1930 году трамвайная линия не достигала до Парголово 1-го, трамвайное кольцо там откроют только в 1934-м. Во-вторых, Гумилев рассказал Варустину, что в будке отдыхали приехавшие на трамвайное кольцо вагоновожатые и кондукторы. Но в Парголово им нечего было делать, кольцо 20-го трамвая находилось южнее. Отдых труженика «пути и тока» краток: посидел, попил чаю – и снова в трамвай. Тут каждая минута дорога. Какой же нормальный человек пойдет с настоящего трамвайного кольца на далекую недостроенную станцию? А вот кольцо 19-го трамвая на Кондратьевском проспекте для отдыха кондукторов и вагоновожатых как раз подходило.

Путь с Фонтанки до Кондратьевского проспекта намного короче, чем до Парголова 1-го, но все-таки и он очень долгий. Общество чернорабочих и кондукторов вряд ли было интересно книжному мальчику. Правда, Гумилев там получал небольшую зарплату и хлебную карточку, но вставать ранним утром и отправляться на северо-восточную окраину города, на далекое трамвайное кольцо, было мучительно. Поздняя осень и начало зимы в России – самое темное время. Ленинград в те годы был освещен слабо, так что большую часть пути Лёве приходилось проделывать в темноте. Наконец, у Льва совершенно не было опыта физической работы. Словом, никаких оснований задерживаться в «Службе пути и тока» у Гумилева не было, а потому он уже в декабре 1930-го меняет ее на курсы коллекторов при Центральном научно-исследовательском геологоразведочном институте (ЦНИГРИ).

Хамар-Дабан

Выбор Гумилева представляется почти столь же случайным, как и работа в трамвайном депо. Ни интереса, ни способностей к естественным наукам у Гумилева вроде бы не было. На курсах коллекторов он, по-видимому, не проявлял рвения к учебе. Летом 1931-го Лев со смехом признается своей новой подруге Анне Дашковой: «Читал охотно Апулея, а геологоразведочного дела не читал!» Эту фразу он будет повторять и позднее, вплоть до рассказов о своей лагерной работе на Таймыре. Но профессия коллектора оказалась для Гумилева спасением.

В годы первых пятилеток власть не скупилась на средства для геологических экспедиций, ведь новые советские заводы нуждались в отечественном сырье. Экспедиции формировались одна за другой, спрос превышал предложение, а потому их руководители не обращали внимания на социальное происхождение работников – были бы молоды, здоровы, выносливы, грамотны. Среди коллег Гумилева по курсам коллекторов и участников будущих экспедиций встречалось немало таких же, как он, бесправных «лишенцев». С ними было, вероятно, легче сработаться, чем с настоящими пролетариями в трамвайном депо. Гумилев вспоминал впоследствии, что ни в одной из своих ранних (до университета) экспедиций не чувствовал себя изгоем, к нему относились не хуже, чем к другим.

Экспедиции дали нищему Гумилеву возможность «посмотреть мир», своими глазами увидеть тайгу и степи, побывать в Сибири и в Крыму. На время экспедиций Лев мог вырваться из тягостной для него атмосферы Фонтанного дома. Наконец, в экспедициях можно было заработать немного денег, а еще там неплохо кормили, и Лев отъедался после полуголодной зимы.

11 июня 1931 года Гумилев отправился в свою первую экспедицию – Прибайкальскую геологоразведочную. На Московском вокзале его провожала Ахматова, передала ему пакет с продуктами. Поезда тогда ходили медленно, путь от Ленинграда до Иркутска занимал неделю. Душный плацкартный вагон был так переполнен, что напоминал общий. В Иркутске предстояла пересадка. До станции Слюдянка, что на южном берегу Байкала, добирались уже в красном товарном вагоне, наспех приспособленном под пассажирский. Слюдянка, рабочий поселок на берегу Байкала, стала базой экспедиции. Работать же пришлось в горах Хамар-Дабана.

Хамар-Дабан – древняя горная страна, что отделяет Сибирь от степей Центральной Азии. Климат в этих горах влажный и холодный, особенно на северных склонах. Даже в самые засушливые годы, когда восток Великой степи превращался в пустыню, Хамар-Дабан служил надежной границей, не пускавшей пески и суховеи на север. В древности и в Средние века на склонах Хамар-Дабана спасались от засухи кочевые тюркские и монгольские племена.

Зимой безлесные вершины гор («гольцы») покрывались снежными шапками, русла таежных рек иногда промерзали насквозь, зато весной горные потоки несли воду к подножьям, образуя бесчисленные водопады.

В тайге, покрывающей склоны гор, жили лоси, кабаны, маралы, бурые медведи. Местные охотники издавна добывали там горностая, белку, лисицу и даже драгоценного соболя. Изредка встречались в горах изящная высоколапая рысь и неугомонная энергичная россомаха. «Более красивого и благодатного места я в жизни не видел», – признает Гумилев полвека спустя.

В горах Хамар-Дабана уже тогда добывали слюду и лазурит, но ученые-геологи предполагали, что эти горы, одни из самых старых на земном шаре, гораздо богаче.

Гумилева задачи экспедиции, кажется, вовсе не интересовали, хотя он добросовестно исполнял свои обязанности. Еще в поезде Лев познакомился с двадцатилетней Анной Дашковой. Если не считать нескольких скупых фраз, которые можно извлечь из поздних интервью Гумилева, то ее воспоминания – единственный источник, по которому мы знаем о той экспедиции. Дашкова стала близкой подругой Гумилева, он поддерживал с нею связь и после возвращения в Ленинград.

Анна Дашкова находила Гумилева худым и физически неразвитым (без «элементарной спортивной тренировки») молодым человеком, который носил сшитый не по росту плащ полувоенного вида, надевал под потертый пиджак выцветшую штормовку. Обут он был в стоптанные кирзовые сапоги. Головной убор – «черный картуз с надломленным козырьком», поверх этого картуза, который будет служить Гумилеву еще не один год, он надевал накомарник. Зато восемнадцатилетний Лев был живым, общительным, воспитанным, образованным, начитанным (особенно в русской литературе) юношей. В поезде он охотно рассказывал Анне о своем детстве в Бежецке, о бабушке, читал стихи своего отца, благо Дашкова, дочь офицера, с детства знала о Николае Гумилеве. В экспедиционном лагере, на привале или у вечернего костра Гумилев тоже любил поговорить. Вечером вокруг Гумилева собирались «все, кто не оставался в палатке». Кажется, тогда впервые у Гумилева проявился дар рассказчика: «Фантазия, как-то особенно правдиво выдававшаяся им за быль, была необыкновенно привлекательной и временами таинственной». Наблюдение, вне всякого сомнения, точное и чрезвычайно примечательное.

При этом Гумилев уже тогда любил и умел спорить, а собственную точку зрения защищал, как хороший солдат – выгодную позицию.

Тяготы жизни в палатке не пугали молодого Льва. Экспедиция уходила на несколько дней в горы, где питаться приходилось консервами, и Дашкова вспоминала, как Гумилев, доставая очередную банку опостылевших шпрот, весело предлагал: «Вскроем гадов!» Зато в базовом лагере на берегу Байкала питались знаменитым омулем, вкус которого не может забыть всякий, кто его хоть раз в жизни попробовал.

Бесстрашие соединялось в молодом Льве с упорством и своеволием. Презрев инструкции по технике безопасности, он один переходил вброд холодные и бурные горные реки. Всякий раз товарищи отправлялись вниз по течению – «ловить Льва», но Гумилев самостоятельно выбирался на берег. Такое же бесстрашие он проявил, когда в одиночку нашел очаг лесного пожара и попытался его потушить. Неизвестно, чем бы это для него закончилось, если бы внезапный ливень не спас его вместе с горящей тайгой.

Работать на Хамар-Дабане можно только летом. Первые заморозки там случаются в конце августа, а в сентябре в горах уже выпадает снег, в октябре устанавливается прочный снежный покров. В 1931 году Прибайкальская экспедиция завершила свою работу, очевидно, уже в первых числах августа, и Лев с Анной вернулись в Ленинград, где продолжали встречаться по крайней мере до второй половины 1933 года.

Датировать возвращение Гумилева началом августа позволяет письмо японскому филологу Кандзо Наруми. Гумилев написал его 18 августа 1931 года и отправил из Детского (Царского) Села в Ленинград. Ахматова познакомилась с Наруми только 19 июня 1931 года, а Гумилев – уже после своего возвращения, то есть в первой половине августа 1931-го. В Ленинграде Гумилев поселился у Льва Аренса, брата первой жены Николая Пунина, но бывал и у матери на Фонтанке, где, очевидно, и состоялся его разговор с Кандзо Наруми. Вскоре Гумилев уехал в Детское Село к знакомым Констанции Фридольфовны Лампе, племянницы его бабушки, Анны Ивановны. Лев, кажется, старался использовать всякую возможность уйти из «гостеприимного» Фонтанного дома. Позднее из-за ссор с Пуниным Гумилев иногда ночевал у Станюковичей, соседей по дому 34 на Фонтанке.

Прибайкальская экспедиция оказалась не только первой, но и самой восточной в его жизни. Дальше – в Забайкалье и Монголию – ему не удастся проникнуть, так уж сложится его жизнь. Зато опыт, приобретенный на берегах Байкала и склонах Хамар-Дабана, поможет ему и позднее: в Таджикистане, в Крыму, на Дону, Ангаре, Тереке – повсюду, где Гумилев будет трудиться с геологами или археологами.

Начиная с 1931 года Гумилев будет отправляться в экспедиции практически каждое лето. Академик С.В. Калесник насчитает в карьере Гумилева двадцать один экспедиционный сезон.

Вот список этих экспедиций:

1931 – Прибайкальская геологоразведочная;

1932 – Таджикская комплексная;

1933 – Крымская геологическая (экспедиция четвертичной комиссии Геологического института АН СССР) и в этом же сезоне экспедиция Симферопольского музея (раскопки пещеры Чекура);

1935 – Манычская археологическая;

1936 – Саркельская археологическая;

1943 – Хантайская геофизическая;

1943–1944 – два сезона Нижнетунгусской геологоразведочной;

1946–1947 – два сезона Юго-Подольской археологической экспедиции;

1948 – Горноалтайская археологическая;

1949 – Волго-Донская (Саркельская) археологическая;

1957 – Ангарская археологическая;

1959–1963 – пять сезонов Астраханской археологической экспедиции;

1964 – экспедиция под руководством почвоведом Александра Гавриловича Гаеля на реку Арчеда (низовья Дона);

1967 – Кавказская этноархеологическая.

Прибайкальская экспедиция, курсы коллекторов и опыт работы в геологоразведочных партиях спасут Гумилева от гибели на общих работах в Норильском лагере, обеспечив сравнительно безопасное место геотехника. Но и этим не исчерпываются выгоды от, в общем-то, вынужденной работы геологом. Даже поверхностное знакомство с естествознанием повлияет на мировоззрение ученого. Создавая свою пассионарную теорию этногенеза, он будет ориентироваться на естественные науки, а этнологию попытается превратить в отрасль естествознания. Сейчас, зная биографию Гумилева, почти что выучив наизусть его книги, я не могу не задуматься над странными поворотами его судьбы. Как будто чья-то воля вела его.

Таджикистан

Вторая экспедиция Льва Гумилева, самая длительная (будто бы 11 месяцев) в его жизни и самая южная – таджикская. В списке экспедиций Гумилева, составленном им самим, она не упомянута. Более того, Гумилев пишет, что в 1932 году участвовал в Крымской археологической экспедиции. В то же время в своих интервью он не раз рассказывал именно о своей работе в Таджикистане, а участие в Крымской экспедиции относил к 1933 году. В автобиографии, написанной Гумилевым в октябре 1956 года, когда его принимали на работу в Государственный Эрмитаж, экспедиция в Таджикистан упомянута раньше Крымской.

В списке Гумилева – только археологические экспедиции (две Крымские, Манычская и Саркельская). Гумилев не включил в список не только таджикскую, но и экспедицию на Хамар-Дабан. Очевидно, он указывал только профильные для историка археологические экспедиции. Участие в Крымской экспедиции 1932 года отдает сюжетом «1001 ночи». Получается, Гумилев, как сказочный джинн, был сразу и в Таджикистане, и в Крыму. Вероятно, эта запись в личном деле – всего лишь приписка, невинный подлог. Гумилеву было жалко не записать в свой актив такой замечательный экспедиционный сезон, но раскопками в Таджикистане он не занимался, потому и поменял Таджикистан на Крым.

Таджикскую экспедицию Гумилев упоминал часто, хотя и рассказывал о ней немного. Биографы Гумилева обычно ограничивались пересказом его интервью 1987 года: «...меня устроили в экспедицию в Таджикистан. Но дело в том, что мой новый начальник экспедиции – очень жесткий латыш – занимался гельминтологией, т. е. из животов лягушек извлекал глистов. Мне это мало нравилось, это было не в моем вкусе, а самое главное – я провинился тем, что, ловя лягушек (это была моя обязанность), я пощадил жабу, которая произвела на меня исключительно хорошее впечатление, и не принес ее на растерзание. За это был выгнан из экспедиции, но устроился там малярийным разведчиком и целых 11 месяцев жил в Таджикистане, изучая таджикский язык. Научился я говорить там довольно бодро, бегло, это мне принесло потом большую пользу»³.

Гумилев провел в Таджикистане почти весь 1932 год. Как ни странно, биографы, если не считать Ольгу Новикову, даже не попытались вычислить, в какой области он работал, ведь

³ Только Сергей Лавров, собрав сведения о самой экспедиции, о ее руководителях, попытался этот рассказ дополнить, но и его история была слишком краткой, отрывочной. Чтобы понять истинное значение этой поездки Гумилева, надо обратиться к методу самого Гумилева – дополнить сведения немногословного источника исторической реконструкцией. Само слово «Таджикистан» появилось лишь в 1925 году, когда на месте Восточной, или Горной, Бухары (юго-восточной части бывшего Бухарского эмирата) решением Сталина была создана Таджикская Автономная Советская Социалистическая республика (Таджикская АССР), которая сначала стала частью Узбекской ССР. В 1929 году Таджикистан преобразуют в союзную республику (Таджикскую ССР). О дружбе народов в тех краях еще не слышали. Воинственные узбеки – среднеазиатские турки – оттеснили родственных персам таджиков в предгорья Памира и западного Тянь-Шаня и в заболоченные долины Вахша и Пянджа. Хотя таджикское население сохранилось в древних городах – Бухаре, Самарканде, Ходженте и в благодатной Ферганской долине, но военная и политическая сила была на стороне узбеков. Узбеком был эмир бухарский, самый сильный правитель Средней Азии, сохранивший самостоятельность даже после того, как русские генералы Черняев, Кауфман и Скобелев завоевали Туркестан и установили там власть Белого царя. Русские, правда, запретили эмиру торговать рабами, сажать людей на кол и бросать их в ямы с клопами, а так он оставался вполне независимым правителем. В сентябре 1920 года Красная армия «пришла на помощь трудящимся Бухары», и эмиру пришлось бежать за горы, в Гиссарскую долину, в ту самую Восточную Бухару. Своей новой столицей эмир сделал большой кишлак Дюшамбе, который прежде был известен разве что расположенной неподалеку могилой мусульманского святого Мавлоночорки. Очередную войну с отлично обученной, закаленной в боях гражданской войны Красной армией эмир Сеид-Алим-хан и «главнокомандующий войсками ислама» Ибрагим-бек проиграли и бежали в Афганистан. Сталин, единственный человек в Политбюро, разбиравшийся в национальном вопросе настолько, что мог отличить узбека от таджика, разделил Туркестан между пятью народами, каждый получил по национальной республике. Как всегда бывает при дележе земель, остались обиженные. Особенно недовольны были таджики, потому что Самарканд и Бухара, которые таджики считали своими, достались узбекам. Этой обиды таджики не забыли и не простили и много десятилетий спустя.

Таджикистан исключительно разнообразен. Равнинный Шахристан не походит на высокогорья Памира, климат богатой Гиссарской долины отличается от климата горных пастбищ Дарваза.

Гумилев приблизительно назвал район своей экспедиции: «Автору открылись... ущелья по Вахшу⁴ и таджикские кишлаки, где люди говорили на языке Фирдоуси».

В благословенную эпоху Саманидов (IX–X века) долина Вахша была еще землей цветущей, ее воспевал великий Рудаки, поэт, которого таджики и персы ставят намного выше любимого европейцами Хайяма. К XX веку от бывшего процветания остались одни воспоминания. Во всем южном Таджикистане, в долинах Вахша, Пянджа и Кафирнигана, было всего четыре города: Кабадиан, Курган-Тюбе, Бауманабад (бывший Сарай-Комар) и Куляб. Но и эти города походили на большие кишлаки. Русские путешественники, пишет Павел Лукницкий, их от кишлаков и не отличали.

Правда, старинные каналы еще кормили население, состоявшее из узбеков, таджиков, туркмен, киргизов, цыган. В трех кишлаках жили даже арабы. Преобладали, разумеется, таджики и узбеки. Но в двадцатые годы земли начали пустеть. Поля на склонах гор зарастали сорными травами, пастбища были пустыни, ирригационные сооружения разрушены. Согласно переписи 1926 года, население долины Вахша едва достигало 11 500 жителей⁵.

У советской власти на долину Вахша были большие планы. Сухие тропики южного Таджикистана подходят для ценного длинноволокнистого хлопчатника, который необходим не столько текстильной, сколько военной промышленности: из него делают бездымный порох, взрывчатку, парашютную ткань.

С 1927 года в долине Вахша начались эксперименты по акклиматизации ценных египетских сортов хлопка. Десять кустов хлопчатника погибли, еще семь съел осел, но семнадцать кустов выжили и принесли небольшой урожай. Это решило судьбу долины Вахша, судьбу насе-

⁴ Вахш – горная река. Она начинается в горах Памира и течет в его теснинах с огромной скоростью, но, выйдя на равнину южного Таджикистана, замедляет свое движение и последние сто километров до впадения в Пяндж (Амударью) становится уже сравнительно спокойной рекой с заболоченными берегами. Эти болота рождали миллионы комаров. Население долины поголовно болело малярией, встречалась и москитная лихорадка. Низовья Вахша и Пянджа поросли тростником и густым кустарником, где водились фазаны, дикие утки, камышовые коты. До прихода русских в изобилии встречались кабаны, мусульмане на них, по понятным причинам, не охотились. Обитал там и туранский тигр, теперь вымерший. Летом в этих местах почти не бывает дождей, за пределами поймы Вахша начинаются пустыни, предгорья тоже почти безводны, в немногочисленных источниках и ручьях вода солона и горька, на склонах гор лишь кое-где растут устойчивые к засухе фисташковые деревья. Поэтому земледелие возможно только орошаемое. Во времена древней Бактрии здесь процветало земледелие, кормившее огромный благоустроенный город (теперь это городище Лагман), расположенный на берегу Вахша, неподалеку от нынешнего Курган-Тюбе. Город опоясывали шестиметровые стены с башнями и многочисленными воротами. Его жители некогда наслаждались всеми плодами древней цивилизации, от каменных домов с обложенными кирпичом колодцами до настоящего трубопровода. Но хозяйство Вахшской долины пришло в упадок еще в Средние века. Орошаемое земледелие рано или поздно приводит к засолению и заболачиванию почв. Лагман повторил судьбу городов древней Месопотамии.

⁵ Советская пропаганда обвиняла во всех бедах басмачей, но басмачи базировались за границей, в соседнем Афганистане, и туда же, в Афганистан, переселялись жители южного Таджикистана. Не просто переселялись – бежали, иногда целыми кишлаками. Бежали от коллективизации. В 1928 году в Средней Азии появились первые колхозы и совхозы, их число росло каждый год. Басмачи в Средней Азии изводили так же рьяно, как в России кулаков. Таджики и узбеки воинственны, поэтому сопротивление советской власти не стихало здесь больше десяти лет. Свою ненависть к большевикам басмачи переносили и на всех русских, при случае вырезали «урусов» поголовно, поэтому даже участники советских научных экспедиций еще в начале тридцатых обязательно вооружались винтовками и наганами, которые им нередко приходилось пускать в ход. Разумеется, геологи, зоологи, географы в большинстве своем не отличались хорошей военной подготовкой. Лукницкий так описывает боевые качества своих товарищей: «...некоторые впервые садятся в седло. Даже заседлать коней не умеют. Но у них воинственный вид... у иных на животе даже поблескивают жестяной бутылочные ручные гранаты. Бывалые участники экспедиции хмуро оглядывают таких новичков, боясь не басмачей, а этого воинства, потому что любой из новичков способен по неосторожности и неопытности взорвать гранату на собственном животе или вогнать наганную пулю в круп лошади». Одна научная экспедиция в полном составе попала к басмачам в плен. Советские ученые спаслись только тем, что назвали себя врачами, а людей этой профессии в Средней Азии ценили высоко. Меньше повезло ленинградским геологам, приехавшим на Памир в 1930 году и разбившим лагерь в горах Заалайского хребта. Басмачи атаковали лагерь, разграбили его, перебили всех русских, а нанятые экспедицией рабочие-киргизы то ли разбежались, то ли присоединились к басмачам. Из всей экспедиции, сообщается в «Очерках по истории Ленинградского университета», уцелел только один студент-практикант, который собирал образцы горных пород вдалеке от лагеря. Его просто не заметили.

ления Дарваза и отрогов Гиссара, судьбу пойменных лесов нижнего Вахша и Пянджа, судьбу туранского тигра, наконец.

В 1931 году начался Вахшстрой – расчистка старых и строительство новых каналов, которые должны были обеспечить водой громадные поля хлопчатника. Это была одна из знаменитых строек первой пятилетки. Она описана в известном в свое время романе Бруно Ясенского «Человек меняет кожу».

Таджиков стали переселять с гор, объединять в колхозы и совхозы и заставлять вместо риса возделывать хлопок. Леса и кустарники в пойме Вахша и Пянджа свели, чтобы расширить посевные площади. Тигры, лишившись кормовой базы, вымерли, не спас их и открытый в 1938 году заповедник «Тигровая балка». Для борьбы с малярией открывали специальные малярийные станции, на одной из них и работал молодой Лев Гумилев.

Как вообще Гумилев попал в Таджикистан? Если выбор места и профиля его первой экспедиции был скорее всего случайным, то здесь дело обстоит гораздо интереснее. Еще Лавров предположил, что заинтересовать Льва рассказами о Таджикистане мог Павел Лукницкий. Он уже дважды побывал на Памире и описал свои впечатления в повести «У подножия смерти», напечатанной в 1931 году. На самом деле роль Лукницкого здесь намного значительнее. Павел Николаевич был ни много ни мало ученым секретарем Таджикской комплексной экспедиции 1932 года. Само по себе это звучит невероятно.

Таджикская комплексная экспедиция была организована по решению Совнаркома и президиума Академии наук. Руководил подготовкой к экспедиции научный совет под председательством академика А.Е. Ферсмана. В совет входили ученые с мировым именем, среди них, например, Николай Иванович Вавилов. Паразитологическую группу, в которую попадет Гумилев, возглавлял Евгений Никанорович Павловский, будущий академик, будущий президент Географического общества СССР, основатель тропического института в Таджикистане.

Руководил экспедицией Николай Петрович Горбунов, личный секретарь Ленина, бывший управляющий делами Совнаркома и ректор Бауманского училища. С 1935 года и до ареста в феврале 1938 Горбунов, уже академик, будет ученым секретарем Академии наук СССР.

По данным Павла Николаевича Лукницкого, в экспедиции участвовали 700 человек (в том числе 97 научных работников). Экспедиция делилась на 72 отряда (геологические, геохимические, метеорологические, гидроэнергетические, ботанические, зоологические, паразитологические, сейсмологические, этнографические). Для работы экспедиции по всей территории Таджикистана потребовалось организовать множество опорных баз, заготовить продовольствие для сотрудников, фураж для лошадей. В ее распоряжении были радиостанции, самолеты, автомобили.

Ученым секретарем экспедиции такого уровня должен был стать по крайней мере кандидат, а лучше – доктор наук. Тридцатилетний поэт и прозаик Павел Лукницкий, выпускник литературно-художественного отделения факультета общественных наук ЛГУ, на такую должность теоретически претендовать не мог. Правда, он был уже опытным путешественником, альпинистом, участником экспедиций по Крыму, Кавказу, Туркмении, Памиру, но ни его статус, ни квалификация всё же не соответствовали должности ученого секретаря. Да и его участие в совсем «не профильных» для поэта геологических экспедициях на Памир (1930, 1931) заставляет задуматься. Остается предположить, что Павел Николаевич помимо обязанностей ученого секретаря действительно выполнял какую-то другую, более важную в глазах руководства ОГПУ работу. Именно Лукницкий пристроил Гумилева в таджикскую экспедицию.

В.А. Черных, биограф Ахматовой, отмечает, что в апреле 1932-го Ахматова писала Харджиеву: «От Левы нет вестей: он не ответил никому из нас – не знаю, что думать». Значит, Гумилева уже не было в Ленинграде достаточно долго, вероятно, несколько недель. Потом, возможно, известия о нем появлялись и вновь исчезали, потому что в первых числах февраля 1933-го Ахматова вновь будет жаловаться Харджиеву, что «от Левы нет вестей». Между тем

известно, что Гумилев из Таджикистана поехал сразу же в Ленинград, где до марта 1933-го работал коллектором ЦНИГРИ. Значит, вернулся он только в феврале 1933-го, но не в первых числах.

Если Гумилев и в самом деле провел в Таджикистане одиннадцать месяцев, то началом его экспедиции следует считать март 1932-го.

Путь для исследователей Средней Азии тогда чаще всего начинался ташкентским поездом. От Ташкента уже по местной железной дороге добирались до Андижана и далее до Оша. Здесь железная дорога заканчивалась. Путешественники пересаживались на автомобили, на лошадей или на верблюдов, которые по-прежнему оставались основным транспортным средством. В те времена по Таджикистану еще ходили караваны в двести – четыреста, а то и в тысячу верблюдов.

Ранняя весна – лучшее время года в Средней Азии. Цветут акация, абрикосовое дерево и миндаль. Прохладная вода арыков омывает корни огромных тополей, вдалеке видны очертания снежных гор.

Итак, до Оша Лукницкий и Гумилев ехали вместе. Более того, Лукницкий скорее всего уговаривал Льва поехать с ним на Памир. Но горы Гумилева никогда не привлекали, поэтому дороги Льва и его покровителя разошлись. Лукницкий поехал на Памир, а Гумилев через город Сталинабад (бывший кишлак Дюшамбе) отправился на юго-запад. В автомобиле? Вряд ли простому лаборанту оказали такую честь; вероятнее, на верблюде.

Много лет спустя в лекции об этногенезе арабов Гумилев будет рассказывать о влиянии аллюров верблюда на развитие арабской поэзии: «Когда арабы ездили на верблюдах, нужно было бормотать ритмично, чтобы не растрясло. У нас в России пять размеров: ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий... А у арабов – двадцать семь. <...> Араб едет по пустыне и бормочет – свое: “Я ви-и-жу не-е-бо, я-я е-ду на ве-е-рб-л-ю-ю-де...”»

Для столь натуралистического описания необходим личный опыт, до таджикской экспедиции его было приобрести негде, но и после нее Гумилев практически не бывал в местах, где встречаются верблюды. Правда, он сидел в лагерях Казахстана, но вряд ли лагерное начальство позволяло экаму разъезжать на верблюдах.

На Вахш Гумилев попал не сразу. Некоторое время он провел в Гиссарской долине, где, как помнит читатель, ему пришлось послужить науке лаборантом-гельминтологом.

Мы не знаем, как долго Гумилев резал лягушек. В любом случае нам интереснее результат. Гумилев, всегда любивший идти наперекор обстоятельствам, то ли из экспедиции бежал, а потому и был отчислен, то ли сначала был отчислен за нарушение трудовой дисциплины и неисполнение возложенных на него обязанностей, а потом ушел подальше от бывшего места работы.

Гумилев покинуть Таджикистан не собирался, он лишь каким-то образом (вероятно, присоединившись к одному из караванов) перебрался в долину Вахша. Но в долине Вахша тогда был только один совхоз – «Вахш», а из интервью Гумилева известно, что он устроился маячным разведчиком в совхоз «Дангара». Название «Дангара» носит и прилегающий к селению район. Дангара расположена на полпути от долины Вахша к Дарвазу, предгорьям Памира. Каждый год на зимовку в Дангару пригоняли скот из Дарваза и высокогорного Каратегина. Занимались и земледелием. А в 1932 году там уже размещался большой и богатый Дангаринский совхоз, где и работал Гумилев.

Дангаринский совхоз относился к числу образцово-показательных. Он располагал несколькими тысячами гектаров плодородных земель, большим тракторным парком и немалыми средствами. В совхозе трудилось более шестисот русских, что, впрочем, не было редкостью для южного Таджикистана. В 1932 году в тех краях было много русских, украинцев, встречались даже осетины. Всё это были беженцы, спасавшиеся от голодной смерти, а в Таджикистане всем находились работа и кусок хлеба. Советская власть вкладывала в развитие отста-

лой республики огромные средства, рабочих рук не хватало, а местное ОГПУ не могло уследить даже за местной «контрой». Таджикистан, как редиска, был красным лишь снаружи. Дьяконов описывает, как один русский студент, прибывший в Курган-Тюбе на практику, не застал заведующего районо, потому что тот ушел в мечеть молиться.

Наемным работникам платили, по советским меркам, неплохо. Жилось им тяжело, но по крайней мере здесь не было голода. Тем не менее русские всё чаще вслед за таджиками уходили в Афганистан. Более того, если верить свидетельству Александра Рудольфовича Трушновича, бывшего корниловца и будущего власовца, русские встречались даже среди басмачей.

Намного опаснее ОГПУ была малярия. Лечили ее плохо, лекарств не хватало. Дефицитным хинином пользовали только самых ценных, с точки зрения советской власти, людей: рабочих, военных и хлопкоробов. Лекарство принимали в присутствии врача, чтобы больной не мог унести его домой и отдать больной жене или ребенку. На процветающем черном рынке хинин стоил бешеных денег.

Гумилев был рядовым в бесконечной войне против малярии: «Работа заключалась в том, что я находил болотца, где выводились комары, наносил их на план и затем отравлял воду “парижской зеленью”. Количество комаров при этом несколько уменьшалось, но уцелевших вполне хватило, чтобы заразить малярией не только меня, но и всё население района».

Борьба против заразной болезни не была напрасной. Правда, малярию в Таджикистане победит не парижская зелень (очень токсичный порошок, не растворяющийся в воде), а рыбка гамбузия, которая будет так эффективно уничтожать личинок малярийного комара, что уже в пятидесятые годы болезнь, прежде распространенная повсеместно, станет редкостью. Возродится малярия уже в независимом Таджикистане.

Судя по оговорке, переболел малярией и сам Гумилев. Болезнь, скучная и опасная работа, да и сама жизнь в чужой стране, в непривычном климате, среди чужих людей кого угодно на долгие годы оттолкнули бы от Востока. Но Гумилеву жизнь в южном Таджикистане очень понравилась. Позднее он будет завидовать Анне Дашковой, которая попала в Таджикистан год спустя: «Счастливая! А моя дорога проходит по крымским сопкам, похожим на бородавки, и на которых скучно, как на уроке политграмоты».

Вдумайтесь, это Гумилев пишет из благодатного Крыма! Там ему хуже, чем в знойном, малярийном Таджикистане начала тридцатых, с его грязными кишлаками, глиняными лачугами, крытыми камышом, с клещами, скорпионами, ядовитыми пауками, с тифом и лихорадкой, наконец. Но Гумилеву пришлось по душе и страна, и, что самое главное, народ. Таджикский он выучил не по учебникам (их у него не было), а в непосредственном общении с дехканами. «Знаете, я там... ходил босой, в белом халате и чалме, разговаривал на плохом таджикском языке, который тут же и выучивал, и никто никогда меня не обидел», – вспоминал Л.Н. много лет спустя.

В шестидесятые годы Гумилев выдвинет гипотезу о положительной и отрицательной комплиментарности – бессознательной симпатии/антипатии народов друг к другу. Эта комплиментарность и предопределяет, будут ли народы жить мирно или начнут друг друга истреблять. Сам Гумилев был живым подтверждением собственной гипотезы. У него, несомненно, была положительная комплиментарность к таджикам, узбекам, киргизам – да едва ли не ко всем народам Средней Азии. А комплиментарность всегда взаимна. Там, на берегах Вахша, отчасти определятся и будущие научные интересы Гумилева. Правда, кочевников он всегда будет предпочитать земледельцам, зато из всех восточных языков, которыми пытался овладеть, именно таджикский (новоперсидский) он освоит лучше всего.

В Москве

Из письма Михаила Булгакова Викентию Вересаеву 6 марта 1934 года: «Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. <...> Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, и, наверное, будут еще какие-нибудь неполадки, но всё же я счастлив. Лишь бы только стоял дом».

В 1933 году на одного москвича приходилось в среднем 4,15 квадратного метра жилой площади, включая и малопригодную для жизни: сырые подвалы, бараки, перенаселенные коммуналки. Даже известные писатели, за редким исключением, находились в этих стесненных условиях. Аркадий Гайдар, книги которого выходили огромными тиражами, жил со своей семьей из пяти человек в одной комнате. А ведь писателю на так называемой жилплощади приходилось еще и работать. В июле 1933 года постановлением ЦИК и СНК СССР члены Союза писателей приравнивались в жилищных правах к научным работникам, им предоставлялись льготы. Пока это постановление не давало результатов, писатели вынуждены были искать «приют спокойствия, трудов и вдохновения», полагаясь только на собственную смекалку. Андрей Платонов убрал ванну из ванной комнаты и сделал кабинет. Геннадий Гор, сядя за письменный стол, брал палку в левую руку и отгонял мешавших ему детей, а правой пытался писать.

Можно понять радость Булгакова: в феврале 1934 года ему удалось купить квартиру в одном из первых в Москве кооперативных домов. На полгода раньше в том же доме (Нащокинский переулок, 5, кв. 26) поселились Мандельштамы, Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна. «Мы въехали в квартиру в начале августа и постепенно обживались, привыкая к непрерывному пению воды из уборной и к виду с пятого этажа на огромную и еще низкорослую Москву». После долгих скитаний у Мандельштамов появилась собственная квартира в Москве. Мебели почти не было.

Квартира тиха, как бумага,
Пустая без всяких затей.

Пружинный матрац, покрытый пледом, заменял тахту. На самодельных некрашеных полках Осип Эмильевич разместил книги: Петрарка и Данте на итальянском, томик Батюшкова, много раз перечитанный, без обложки, «Жемчуга» Николая Гумилева...

Воспоминания Надежды Яковлевны об этих днях: «Я не помню ничего страшнее зимы 33/34 года... За стеной – гавайская гитара Кирсанова, по вентиляционным трубам – запахи писательских обедов и клопомора, денег нет, есть нечего, а вечером – толпа гостей, из которых половина подослана».

Половина гостей – стукачи? Возможно ли это? Скорее всего, Надежда Яковлевна сгущает краски и привносит в свои воспоминания более позднюю оценку событий. Зимой и осенью 1933–1934-го в квартире Мандельштамов собирались свои. Скажем осторожнее: по преимуществу свои. Гостили отец и брат Осипа Эмильевича. Приехала из Киева мать Надежды Яковлевны. Некоторое время жил вернувшийся из ссылки поэт Владимир Пяст. Приходили Владимир Нарбут и Михаил Зенкевич, старые товарищи по «Цеху поэтов», и Сергей Клычков, сосед по дому, тоже поэт. Приезжала из Ленинграда Ахматова. Почти всю зиму в Нащокинском прожил Лев Гумилев: то у Мандельштамов, то у Ардовых или Клычковых. Ахматова очень любила разговаривать с Мандельштамом: «О стихах говорил ослепительно, пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив. <...> Он хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки». «С детским увлечением они читали вслух по-итальянски “Божественную комедию”. Вернее, не читали, а как бы разыгрывали в лицах, и Анна Андре-

евна стеснялась невольно вырвавшегося у нее восторга. Странно было видеть ее в очках. Она стояла с книгой в руках перед сидящим Осипом. “Ну, теперь – вы”. – “А теперь вы”, – подсаживали они друг другу», – вспоминала Эмма Герштейн.

Повышенное интеллектуальное напряжение этого дома молодого Льва Гумилева не только не смущало, оно ему было необходимо. Дети известных людей всегда вызывают повышенный интерес, который нередко сменяется разочарованием. С молодым Львом Гумилевым было иначе. Он сравнение выдерживал.

Надежда Мандельштам: «Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец; где бы он ни появлялся в те годы, всё приходило в движение. Люди чувствовали заложенную в нем бродильную силу и понимали, что он обречен».

Эмма Герштейн: «Я поверила в ум и духовность Левы независимо от сравнения с его знаменитыми родителями. Я ощущала его наследником русских выдающихся умов, а не только папы и мамы».

Сергей Клычков: «Поэта из Левы не выйдет, но профессором он будет».

Осип Эмильевич и Лев подружились, несмотря на разницу лет и характеров. Мандельштам всегда тянулся к молодым, хотел, чтобы они знали его стихи, в том числе и опасные стихи о Сталине: «Это комсомольцы будут петь на улицах! – неосторожно мечтал Мандельштам. – В Большом театре... На съездах... Со всех ярусов...» Возможно, и «Московский комсомолец», где он работал с осени 1929-го по февраль 1930-го, появился в его жизни не случайно. Конечно, других газет, кроме советских, не было. Надежда Яковлевна писала для газеты «За коммунистическое просвещение». Эмма Герштейн – для «Крестьянской газеты». Сорокалетний Мандельштам выбрал молодежную газету.

С Лево́й у Мандельштама сложились совершенно особенные отношения. В 1928 году Мандельштам из Крыма писал Ахматовой: «Знайте, я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется». В Гумилеве-младшем Мандельштам видел продолжение Николая Степановича. Называл Леву «мой дорогой мальчик».

Они много времени проводили вместе и даже влюбились в одну женщину, двадцатипятилетнюю Марию Петровых. «Как это интересно! У меня было такое с Колей», – восклицал Мандельштам⁶.

Ахматова вспоминала, как зимой 1933–1934-го Мандельштам был «бурно, коротко и безответно» влюблен в Марию Сергеевну Петровых. «Мастерицу виноватых взоров...», обращенную к Петровых, Ахматова считала лучшим любовным стихотворением XX века. Лев тоже был влюблен в Марию Петровых бурно и безответно. В этом «безответно» не было привкуса горечи. Январские дни 1934-го были для Льва если не счастливыми, то вполне беззаботными. Старый Новый год Лев встретил у Марии Петровых в Гранатном переулке. Танцевали модные тогда фокстроты. Было весело. Если Мандельштаму казалось, что истории его соперничества с Гумилевыми, старшим и младшим, похожи, значит, так он чувствовал. Со стороны кажется иначе. Всё другое: время, место действия, характеры и возраст героев. Похож только финал.

⁶ Холодной и голодной зимой 1920 года Николай Гумилев и Осип Мандельштам добивались благосклонности актрисы Александринского театра, красавицы Ольги Гильдебрандт-Арбениной. Арбенина оставила воспоминания, очень непосредственные, эмоциональные, местами похожие на дневник гимназистки. Герой ее воспоминаний – конечно, Гумилев. Прежде всего герой, воин и путешественник, а потом уже поэт. Зимой 1920-го Арбенина не раз вспомнит их незабываемую встречу 1916 года: «Мне так хотелось того, прошлого! И военные шпоры, и Георгий на груди». В турнире поэтов за сердце прекрасной дамы победил Мандельштам. «Стихи (неожиданно) меня ошеломили. Может быть, мой восторг перед этими стихами был ударом в сердце Гумилеву?» Стихи Мандельштама к Арбениной («За то, что я руки твои не сумел удержать», «Мне жалко, что теперь зима», «Когда ты уходишь, и тело лишится души») Ахматова называла «изумительными». Дальнейшее сложилось по неведомым человеку законам судьбы: Гумилеву оставалось несколько месяцев до гибели, Мандельштам с Надеждой Хазиной, ставшей его женой, уехал в Москву. Ольга Арбенина вышла замуж за писателя и художника Юрия Юркуна, расстрелянного в 1938 году по «ленинградскому писательскому делу».

Появился третий, и Мария Петровых вышла замуж за него, Виталия Головачева, музыковеда. Лев насмешливо называл Виталия «интеллигентом в пенсне».

Соперничество не поссорило друзей. Осип Эмильевич и Лев по-прежнему много времени проводили вместе. Отправлялись на Страстной бульвар к Евгению Хазину, брату Надежды Мандельштам, к Борису Кузину на Большую Якиманку, к Эмме Герштейн на улицу Щипок. Между тем город менялся. Шла реконструкция Москвы. Она была неизбежна, но часто велась варварскими методами, к тому же совпала с гонениями на церковь. В 1932-м взорвали храм Христа Спасителя, «чей золотой громадный купол, ярко блестевший на солнце, можно было разглядеть, как золотую звезду над лесом, когда до Москвы еще оставалось верст шестьдесят». Уходил старомосковский быт. Исчезали дома и целые кварталы, «как будто их вырезали из тела города. <...> Пустота казалась мне противозаконной, противоестественной», – вспоминал Валентин Катаев. «Я... с ума сходила от бесформенности новых площадей», – негодовала Эмма Герштейн. Художник Александр Осмеркин «говорил насмешливо: “Харьков”».

Лев к этим переменам отнесся равнодушно: «Мало ли в России пустырей». Бывая в Москве чаще всего проездом из экспедиций, Гумилев не успел полюбить ее. Москва встречала и провожала его грязными многолюдными вокзалами, переполненными трамваями. Троллейбусы появились в Москве в 1933-м, метро откроют в 1935-м. В двадцатые – тридцатые годы основным средством передвижения в Москве оставался трамвай.

«– Схóдите? Схóдите? А впереди сходят? А та старушка у двери тоже сходит? Вы что, офонарели, гражданка? Вас спрашивают? <...> Нет, изящная словесность пасует перед таким фактом, как электрический трамвай. Тут какая-то особая, высшая теснота, образующаяся наперекор физическим законам. <...> Перемешались руки, гривенники, ноги, бидоны, животы, корзинки и головы... погибли очки (их сорвало и унесло трамвайным течением) <...> завтра пассажир учтет и это. Прикует очки к ушам собачьей цепочкой, наденет под брюки футбольные щитки...» – насмешничали Ильф и Петров.

В трамвае сталкивались москвичи и приезжие, рабочие и совслужащие, студенты и пенсионеры. Здесь можно было услышать новости, запомнить свежий анекдот. Страх еще не сковал столицу, вольные двадцатые только-только миновали, и трамвай служил чем-то вроде московского Гайд-парка.

Мандельштам и Гумилева влекло в гущу людей, они охотно ввязывались в трамвайные склоки, а потом с удовольствием рассказывали о победах. Оба тяжело переживали невозможность осуществить свое предназначение, просто высказаться свободно. Словесные трамвайные баталии были для них выходом творческой энергии, пусть даже иллюзорным.

Читал ли Лев свои стихи Мандельштаму? Оказывается, да. Как-то Эмма Герштейн холодно отозвалась о новом стихотворении Гумилева, а «через несколько дней Надя (Н.Я. Мандельштам. – С.Б.) упомянула в разговоре, что Ося (О.Э. Мандельштам. – С.Б.) весьма одобрил второй стих этого стихотворения:

Ой, как горек кубок горя,
Не люби меня, жена...»

Еще больше в читателе, слушателе нуждался сам Мандельштам. Прочитанные однажды Мандельштамом стихи о Сталине сыграют роковую роль в жизни Гумилева. Но это случится позднее.

Осенью 1933 года Гумилев искал и нашел в Москве литературную работу: «Сейчас я процветаю в столице и занимаюсь литературой, т. е. перевожу стихи с подстрочников нац. поэтов. По правде говоря, поэты эти о поэзии и представления не имеют, и я скольжу между Сциллой и Харибдой, то страшась отдалиться от оригинала, то ужасаясь безграмотности гениев Азии», – писал он Анне Дашковой.

Поездка в Таджикистан и увлечение восточной поэзией определили ориентальный стиль любовных писем: «Анжелика – солнце очей моих», «Светлая радость Анжелика», – обращался он к Дашковой.

В это же время у Мандельштамов возникла идея с помощью Эммы Герштейн (та служила тогда делопроизводителем в Центральном бюро научных работников при ВЦСПС) помочь Льву вступить в профсоюз, что укрепило бы его социальное положение. Несмотря на старания Эммы, эту затею тогда осуществить не удалось. От первой мимолетной встречи в памяти Эммы осталось воспоминание, моментальная фотография: «Молодой человек, рассеянный, независимый, с рюкзаком за плечами... спросил меня на прощание с инфантильной легкостью: “Хотите конфетку?” – и бросил на стол леденец. <...> Таков был сын казненного Гумилева в роли просителя».

Эмма заметила очень характерное, может быть, определяющее: независимость молодого Гумилева. И еще: роль просителя – не его роль. Зимой Лев и Эмма встретились в Нащокинском у Мандельштамов, не предполагая, каким длинным окажется их путь (они были знакомы почти шестьдесят лет). Эмма Григорьевна переживет Гумилева на десять лет, оставит мемуары и уйдет из жизни уже в XXI веке.

Осенью 1933-го Эмма была пышноволосой тридцатилетней женщиной с печальным взглядом. В двадцать один год молодой человек не задумывается, как изменится его избранница лет через пятнадцать. Есть чувства интимные, непостижимые для постороннего. Но были и вполне очевидные мотивы для сближения. Эмма «потрясена зрелищем его жизни, в которой ему не было предусмотрено на земле никакого места», и очень хорошо его понимает. Домашняя, образованная, деликатная, она не сразу нашла свое место в грубой советской жизни, долго оставалась безработной. Делопроизводитель в тресте «Утильсырье» – незавидная должность для молодой женщины с университетским дипломом, но и она Эмме не досталась: ее отгеснили активные комсомолки. Эмма вспоминала, как старалась избежать обязательного участия в ноябрьских демонстрациях. Льва тоже трудно представить в колонне комсомольцев. Оба не умели и не хотели идти в общем строю, не вписывались в эпоху, чувствовали враждебность окружающего мира. И это сближало.

Лев стал приходить к Эмме в гости на замоскворецкую улицу Щипок, где та жила в служебной квартире своего отца, известного хирурга, члена консультации профессоров при Кремлевской больнице. Казенная квартира помещалась «в большом одноэтажном особняке со стеклянной террасой, с отгороженным в больничном парке отдельным садом...». Постепенно особняк превращался в огромную коммуналку. Устроили общежитие для медсестер и санитаров. К ним потянулись родственники из деревень и заселили подвал и все закоулки здания. «На больничной усадьбе разместилась целая деревня». Но и после уплотнения Эмме удалось сохранить отдельную комнату. Лев после экспедиций и чужого для него дома Пуниных, может быть, впервые оценил роскошь уединения. Комната была скромной, но очень уютной. Окно с белой занавеской выходило в сад. Небольшая кафельная печь – в ней Эмма будет сжигать по требованию Ахматовой письма Льва и листочки с его стихами. Это случится после ареста Гумилева в 1938 году. А пока только февраль 1934-го. На полках книги: «Возмездие» Блока в издании «Алконоста» с пометками Мандельштама, «Закат Европы» Шпенглера, «Под сенью девушек в цвету» Пруста. На столе рукописи из литературной консультации Госиздата – Эмма брала их на отзыв для заработка. Однажды предложила подработать Льву, но он рукописи потерял. Лев Николаевич бывал необязателен во всём, что не касалось науки.

Эмма «с пятнадцати лет любила стихи Гумилева и чтит его память». С ней Лев мог говорить о своем неизбывном горе и о своей обиде на мать. Время не излечило, не ослабило обиды. Даже в старости Лев Николаевич с горечью признавался: «В ее жизни никогда не было, кроме Гумилева, мужчины, бретера, героя». А тогда, в 1934-м, у него с Эммой были долгие разговоры об отце и, наверное, очень откровенные: «Он ушел от меня только утром. А в сердце

у меня на многие годы осталась память о вырвавшихся у него как сокровенный вздох словах “мой папа”».

Это было воскресным мартовским утром, а днем раньше Гумилев показал Эмме повестку в ГПУ, которую ему переслали из Ленинграда. Лев уже успел с этой повесткой сходить на Лубянку и попросить отправить его в Ленинград, денег на билет у него не было. С Лубянки его, разумеется, прогнали. Вряд ли Эмма удивилась этому рассказу. Она уже не раз наблюдала вызывающее поведение Гумилева. Ему следовало быть осторожным, не ввязываться в конфликты, а Лубянку и вовсе обходить стороной.

10 декабря 1933 года Гумилева впервые арестовали. Это был первый из четырех арестов Гумилева, по видимости, случайный. Гумилева взяли на квартире востоковеда Василия Александровича Эбермана. Гумилев тогда решил заняться переводами с арабского. Переводил, разумеется, по подстрочнику, языка он не знал, а Василий Александрович был не только филологом-арабистом, учеником Игнатия Юлиановича Крачковского, переводчика Корана, знатоком арабской, персидской и русской литературы, но и поэтом. Эберман сочинял стихи о предмете своих научных исследований – арабском поэте VIII века.

Жену халифа в праздничной Медине
В торжественных и чувственных стихах
Воспел красавец-юноша Ваддах.
Она любовь дарит ему отныне...

Чекисты, собственно говоря, пришли именно за Эберманом, а заодно уж взяли и его гостя Гумилева, человека во всех отношениях подозрительного. «Не успели мы прочесть друг другу по стихотворению, – вспоминал Гумилев, – как в комнату вторглась толпа, схватила и нас, и хозяев квартиры – и всех увезли». В квартире Ахматовой раздался звонок из ГПУ: «Он у нас».

Всякому биографу Гумилева этот арест не может не показаться знаком судьбы, черной меткой, репетицией будущих несчастий, хотя в тот раз всё обошлось – Гумилева продержали в тюрьме девять дней, но дела не завели и даже не допросили. Эберману пришлось хуже. В жизни поэта и арабиста это был уже второй арест. Впервые его взяли в июне 1930-го и отправили в ссылку, затем освободили и позволили даже вернуться к преподаванию. Теперь же Эбермана отправят в лагерь. Гумилева пока оставят в покое. Мартовская тревога окажется ложной – в ГПУ ему даже вернули вещи, изъятые при аресте. В апреле 1934-го он писал Эмме: «...погода плохая, водка не пьяная... Если пожелаете, я могу скоро вернуться... мой приятель уехал в командировку в Сибирь на пять лет». Так они с Эммой начали осваивать язык иносказаний, столь необходимый для той эпохи.

«Уж сколько раз твердил нам Енгельс...»

В июне 1934 года сбылась мечта Гумилева: его допустили к вступительным экзаменам на только что восстановленный исторический факультет Ленинградского университета. Само по себе это было большой удачей, несколько лет работы в экспедициях помогли Гумилеву хоть немного исправить свою анкету.

В июне 1934-го Пунин с Ирочкой и Анной Евгеньевной уехали в Сочи и оставили Ахматовой паек, но у нее и Левы не было денег, чтобы этот паек выкупить. Ахматова и Гумилев голодали, не на что было купить и папиросы. У Льва от голода кружилась голова, поэтому один из экзаменов он даже сдал на тройку, но большого конкурса на истфак еще не было и тройка не помешала Гумилеву наконец-то стать студентом-историком.

С первых же лет советской власти историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета начали реформировать. Сначала превратили в историческое отделение громадного факультета общественных наук. Когда выяснилось, что таким монстром, как новый факультет, управлять нельзя, его разделили. В 1925 году историки оказались в составе ямфака (факультета языкознания и истории материальной культуры), но в 1929 году ликвидировали и ямфак, а на его руинах построили Ленинградский историко-лингвистический институт (ЛИЛИ), который уже через год стал Ленинградским институтом истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ).

Переименования не были формальностью. Реформы постепенно добивали старое университетское образование. Место неблагонадежных профессоров старой школы занимала красная профессура. В 1930 году отменили лекции, а не сумевших перестроиться профессоров стали увольнять «за превращение занятий в лекции».

Игорь Михайлович Дьяконов, начинавший учиться в ЛИФЛИ, оставил интересные воспоминания об этом учреждении. ЛИФЛИ размещался в здании на Университетской набережной, 11, где теперь филологический и восточный факультеты СПбГУ. Директор института как-то обратил внимание на два гипсовых бюста в вестибюле и спросил своего заместителя:

- Кто такие?
- Древние философы: Платон и Аристотель.
- Материалисты?
- Да нет...
- Убрать!
- А они на металлическом стержне.
- Разбить!

Бюсты греческих философов разбили.

Если этот эпизод смахивает на анекдот, то в реальность другого нельзя не поверить. Директор института Горловский читал курс истории Нового времени. Объясняя студентам выражение «богат как Крез», Горловский заметил, что оно происходит от «названия французской финансово-промышленной фирмы Шнейдер-Крезе». Отечественную историю читал какой-то «выдвиженец». Он часто ссылаясь на Энгельса, но называл его на свой манер – «Енгельс», а слово «индивидуализация» произносил как «индульзация». Студенты посвятили ему эпиграмму, которая начиналась так:

Уж сколько раз твердил нам Енгельс
Про индульзацию земли.

Вместо учебника предлагалась «Русская история в самом сжатом очерке» историка-большевика М.Н. Покровского: «Фактов у Покровского не приводилось – они предполагались известными из Ключевского <...> Но книгу Ключевского нам запрещено было выдавать».

Многие студенты были под стать таким преподавателям. Один рабфаковец вместо карты Европы принес карту Африки, а изумленному преподавателю объяснил:

– А я взял, которая была почище.

К слову сказать, этот рабфаковец был лингвистом, а историки и лингвисты, если верить Дьяконову, «по умственному развитию» стояли гораздо выше философов. При этом студенты не всегда стремились как можно больше читать, как можно больше узнать, стать образованными людьми. В те годы поощрялась «ударная» учеба с досрочным (в три года) окончанием курса.

К 1934 году этих безобразий стало заметно меньше. Самые дремучие выдвиженцы лишились работы, на их места вернули опальных историков и филологов, получивших образование и ученую степень еще в царской России.

16 мая 1934 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) были восстановлены исторические факультеты в Московском и Ленинградском университетах. Историческое отделение ЛИФЛИ продолжало существовать параллельно с университетским истфаком до 1937 года.

Старая профессура

Истфак был консервативнее и строже ЛИФЛИ, уровень преподавания здесь приближался к старому, дореволюционному. «Тогда на историческом факультете университета еще требовалось знание всеобщей истории», – с ностальгией будет вспоминать Гумилев полвека спустя. Специализация начиналась не с первого курса, сначала закладывались фундаментальные знания.

Свой первый экзамен в зимнюю сессию 1935 года Гумилев сдавал будущему директору Института этнографии Исааку Натановичу Винникову. Винников читал историю доклассового общества и справедливо считался одним из самых блестящих преподавателей на факультете. Находились студенты, которые слушали его курс дважды, – Винников никогда не повторялся.

Винников был не только этнографом, но и востоковедом-семитологом. Он читал арамейские надписи, изучал Талмуд. Гебраистике учился у академика Коковцева, известного востоковеда-семитолога, эксперта по делу Бейлиса, арабистике – у академика Крачковского. Игнатий Юлианович покровительствовал Винникову до конца своих дней, и заступничество великого ученого очень пригодится Винникову в годы борьбы с космополитизмом.

Исаак Натанович напоминал карикатуру из антисемитского журнала – маленький, с огромными ушами, он к тому же «говорил с ужасающим акцентом, свойственным анекдотам из еврейской жизни», – вспоминал Игорь Дьяконов, оставивший нам колоритное описание винниковских лекций.

«Несмотря на всё это он буквально завораживал своей своеобразной речью, ее неожиданными поворотами, сведениями из самых неожиданных областей, живостью жестикуляции (послевоенный арабист Сергей Певзнер позже говорил про него: “Кажется, взмахнет ушами и полетит”). Еще интереснее он был в разговоре; он обладал бездной познаний и был знатоком живой истории науки; ужасно жаль, что его не записывали на магнитофонную ленту.

– Тайлор! – восклицал он и делал паузу. – Я говорю “Тайлор”! Некоторые говорят “Тейлор”, так они не знают английского языка. Тайлор, что он выдвинул? Он выдвинул понятие пэрэжитка. Вы знаете, что такое пэрэжиток?

Тут он, стоя на эстраде актового зала, поворачивался спиной к слушателям и начинал медленно задирать край пиджака к пояснице.

– Вот что такое пэрэжиток! – восклицал он. – Вы знаете фрак? Так у фрака фалды, а на этом месте пуговицы. Почему на этом месте пуговицы? Вы думаете – ув чем сэкрэт, пришили тут пуговицы! Ув чем сэкрэт? Сэкрэт нэ ув этом. Джентльмены охотились на лисиц верхом, так фалды им мешали, они их туда пристегивали. (*Жест.*) Но теперь дирижер, он не охотится на лисиц, он стоит во фраке и машет палочкой. Вот это есть пэрэжиток».

Историю древнего Востока читал Василий Васильевич Струве, высокий, крупный, чрезвычайно полный человек с рыжими усиками, из-за большой, рано поседевшей головы казавшийся несколько старше своих лет: в 1934-м ему было только сорок пять.

Струве до революции получил основательное образование: историю семитских народов изучал у Коковцева, а египтологию – у создателя советской школы Древнего Востока Бориса Александровича Тураева, затем стажировался в Берлине. Воспитанный в дворянской семье, он попытался приспособиться к новым условиям, и не без успеха. С 1918-го Струве работал в Эрмитаже, возглавлял отдел Египта. В начале тридцатых Струве сделал блестящую карьеру. Он не только ссылаясь в лекциях на Маркса и Энгельса, вообще-то слабо знавших историю Египта и Месопотамии, но и взялся развивать марксистское востоковедение. В 1933 году в Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК) Струве выступил с четырехчасовым докладом «Возникновение, развитие и упадок рабовладельческого общества на Древнем Востоке».

Доклад предопределил развитие советской науки (не только востоковедческой) на много лет вперед. Струве утверждал, будто на Древнем Востоке сложился рабовладельческий строй, подобный тому, что известен по истории Греции и Рима. Это не так легко доказать, ведь в Египте времен Древнего царства и в государствах Шумера рабов было мало, а население состояло в основном из крестьян-общинников, по меркам Древнего Востока – «свободных». Вопреки всеобщему убеждению, египетские пирамиды, например, возводили не рабы, а свободные, отработывавшие государственную трудовую повинность.

Но доклад Струве был основан на железной логике исторического материализма, что несколько лет спустя оценит И.В. Сталин в своем «Кратком курсе истории ВКП(б)». Сталин построит свою схему из пяти общественно-экономических формаций (первобытнообщинная – рабовладельческая – феодальная – капиталистическая – коммунистическая) именно на концепции Струве, на Струве, впрочем, не ссылаясь.

Уже в 1933 году оппоненты критиковали Струве не столько за историческую концепцию, сколько за неточности его переводов, но после выхода в 1938-м «Краткого курса» надолго замолчали последние несогласные. В 1935 году Струве станет академиком, в 1937-м возглавит академический Институт этнографии, а с 1941-го – Институт востоковедения.

Читал он скучно, запинаясь, усыпая речь бесчисленными словами-паразитами: «к сожалению», «знаете ли», «вот видите». «Печально качая седовласой головой, как бы с упреком Хаммурапи и Ашшурбанапалу, он говорил об их жестокости по отношению к рабам...» – пишет о Струве Игорь Михайлович Дьяконов, трижды по необходимости прослушавший курс его лекций и возненавидевший учителя.

Зато Струве был человеком добрым, внимательным к студентам и, несмотря на карьеризм, не подлым. Когда арестуют профессора Ковалева, заведующего кафедрой истории древнего мира, и всех преподавателей заставят «отмежеваться» от «вредителя» и «врага народа», Струве публично откажется это сделать. Позднее он будет хлопотать и за Гумилева.

Сергей Иванович Ковалев читал античную историю. Он считался очень хорошим лектором, а по части политической надежности до своего ареста превосходил даже Струве. Ковалев не только заведовал кафедрой в университете, но и со времен Гражданской войны преподавал в Военно-политической академии, его анкету украшала служба в Красной армии и «революционная деятельность», из-за которой он был некогда отчислен из гимназии. Правда, в чем эта революционность заключалась, неизвестно.

Ковалев смотрел на историю Греции и Рима с марксистской точки зрения, а потому искал в ней только рабовладельческие черты. Трудно сказать, был ли он искренним, когда относил роскошную минойскую цивилизацию к первобытности, восстание Спартака считал прогрессивным, а падение Римской империи объяснял революцией рабов. Вряд ли: он слишком хорошо знал историю, чтобы верить в эту ахинею. Но логика формационного подхода диктовала свои условия, а Ковалев был недостаточно гибок, чтобы не грешить против истины и оставаться правоверным марксистом, отсюда и недостатки его курса. В схематизме его упрекали даже историки-марксисты.

И все-таки лекции Ковалева студенты любили. Некрасивый длинноносый профессор, с лицом в каких-то красных пятнах, умел заинтересовать студентов. История – наука частного и конкретного, ее прелесть в деталях, в живых подробностях минувших эпох, которые не всегда можно заключить в созданные социологами схемы. Ковалев же рассказывал больше не о формациях, но о мудрости Сципиона, красноречии Цицерона, великодушии Цезаря, предусмотрительности Августа.

Экзамен по истории древней Греции Гумилев сдавал не Ковалеву, а Соломону Яковлевичу Лурье, который возглавит кафедру после ареста Сергея Ивановича. Сын могилевского врача, только в восемнадцать лет перебравшийся в Петербург, Лурье стал учеником известного антиковеда, филолога-классика, специалиста по греческой словесности Сергея Александровича

вича Жебелёва. В 1922 году Лурье издал сначала в Петрограде, а затем в Берлине чрезвычайно интересную и оригинальную книгу – «Анτισεμιτισμ в древнем мире». Ученые монографию Лурье не признали, Элиас Бикерман, филолог-классик европейского уровня, написал на нее разгромную рецензию, но книга Лурье пережила свое время и в наши дни не утратила значения, тем более что ни одного серьезного исследования на эту тему в России с тех пор так и не появилось.

В тридцатые Лурье вел семинары, занимался греческой эпиграфикой, историей науки, издавал и комментировал Ксенофонта и Плутарха и не без оснований считался замечательным специалистом по древнегреческим источникам. Любопытно, что сын Соломона Лурье, Яков Соломонович, станет позднее одним из самых строгих критиков Гумилева.

Работал на кафедре и академик Жебелёв, маленький и седовласый. Он не обращал внимания на изменившийся мир, годы Гражданской войны бесстрашно называл «лихолетьем» и хвалил запрещенного эмигранта Кондакова. (Никодим Павлович Кондаков, историк византийского и древнерусского искусства, был ученым с мировым именем.) В блокаду Жебелев умрет от голода.

Курс истории Средних веков читал Осип Львович Вайнштейн, он же заведовал кафедрой. Вообще-то Вайнштейн начинал как историк Парижской коммуны, жил и работал в Одессе, а медиевистикой занялся лишь незадолго до своего назначения. Надо сказать, что изучение и преподавание истории в Одессе, равно как и в других украинских университетах (Киевском, Харьковском, Днепропетровском), находилось в столь плачевном состоянии, что в феврале 1935-го Наркомпрос Украины обратился к руководству ЛГУ с просьбой поделиться опытом, прислать учебные планы исторического факультета, программы и т. п. Можно представить чувства старых профессоров, когда к ним прибыл такой вот одесский «варяг».

Уровень ленинградских медиевистов был несравнимо выше. В университете еще преподавала Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская, первая женщина – магистр и доктор истории, защитившая диссертацию в Париже, до революции профессор Высших женских (Бестужевских) курсов. Она была редким специалистом по средневековым источникам, занималась латинской средневековой палеографией, разбирала рукопись Иоахима Флорского. Работал на кафедре и учитель Добиаш-Рождественской, профессор Бестужевских курсов Иван Михайлович Гревс.

Увы, оба они не считались людьми вполне советскими. Гревс хорошо читал лекции, еще лучше вел семинары, но он не был марксистом, а последние тридцать лет жизни занимался в основном средневековой культурой, то есть культурой религиозной, христианской. Нечего и говорить, что такой человек не должен был руководить кафедрой.

В отличие от Струве Вайнштейн не был щепетилен. В октябре 1937 года на заседании кафедры, проходившем под председательством Вайнштейна, разбирали «дело» профессора В.Н. Бенешевича, который совершил ужасное преступление: прокомментировал и опубликовал в фашистской Германии «Синагогу Божественных и Священных канонов» – сборник православного церковного права, составленный в VI веке византийским автором Иоанном Схоластиком. За Бенешевича попытался вступить только Гревс, но «преступника» всё равно осудили и уволили из университета за «антисоветское поведение», «несовместимое с работой среди советской молодежи». Вскоре опальный профессор будет арестован и расстрелян.

Курс истории СССР с древнейших времен до XVIII века читали Борис Дмитриевич Греков и Владимир Васильевич Мавродин. Греков – фигура в истории отечественной науки важнейшая. В апреле всё того же 1933 года в Госакадемии истории материальной культуры (позже переименованной в Институт археологии), тогда главной площадке для дискуссий историков, Греков прочитал свой доклад «Рабство и феодализм в Древней Руси», где утверждал, будто в Киевской Руси утвердилась феодальная формация. Такой взгляд на историю Руси русским историкам XIX столетия показался бы страшной ересью. Древняя Русь столь разительно отли-

чалась от средневековой Европы, что до начала XX века, когда появились работы Николая Павловича Павлова-Сильванского, кстати, тоже профессора Бестужевских курсов, феодализма на Руси вообще никто и не искал. Да и в XX веке до середины тридцатых годов истории, даже такие, как фанатик-коммунист Михаил Николаевич Покровский, говорили в лучшем случае об элементах феодализма или о «феодализации», но не о настоящем феодализме. Неудивительно, что доклад встретили дружной критикой, так что Греков, человек резкий и убежденный в собственной правоте, вынужден был признать частичную правоту оппонентов. Но вскоре концепцию Грекова одобрили Сталин и Жданов.

Сталин, любивший единоначалие в науке, сделал Грекова историком Древней Руси № 1. В 1934-м Греков стал членом-корреспондентом Академии наук, а в 1935-м – уже академиком, в 1936-м – директором академического Института истории. С каждым годом у него становилось всё меньше противников и всё больше соратников, к последним примкнул и Мавродин, специалист по истории древнерусской государственности и этнической истории русского народа, будущий многолетний декан исторического факультета. Мавродин сыграет в судьбе Гумилева значительную роль, но это будет много лет спустя, а тогда, в середине тридцатых, он просто запомнил Гумилева как способного, талантливого студента. Что до учения о феодализме на Руси, то к концу тридцатых оно превратилось в догмат, который не подвергался сомнению вплоть до выхода в 1974 году монографии Игоря Фроянова «Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории».

В середине – второй половине тридцатых годов на кафедре истории СССР работал Михаил Дмитриевич Приселков, недавно вернувшийся из лагеря. Приселков читал факультативный курс истории русского летописания. К сожалению, Гумилева этот курс, видимо, не заинтересовал, иначе он мог бы многому научиться у лучшего тогда специалиста по древнерусским летописям. Быть может, учеба у Приселкова помогла бы ему избежать потом многих ошибок.

Но Гумилева больше занимали Центральная и Восточная Азия, а потому он избрал другие спецкурсы и других учителей.

Факультативный курс истории Китая читал Николай Васильевич Кюннер, востоковед дореволюционной школы. Кюннер с золотой медалью окончил факультет восточных языков, несколько лет стажировался в Японии, Китае, Корее, знал шестнадцать языков, включая тибетский, корейский, монгольский, китайский, японский, санскрит. Его магистерской диссертацией стала четырехтомная монография «Описание Тибета».

Кюннер отличался от большинства востоковедов широтой научных интересов. Помимо Тибета и Китая Кюннер изучал историю Японии, Кореи, Маньчжурии, Синьцзяна, Монголии, Тувы, был знатоком китайской классической литературы. Кюннер составлял словари географических названий Китая, Японии, Кореи и библиографические указатели по истории Тибета, Кореи, Монголии, Якутии. Кюннер не ограничивался древней и средневековой историей, но изучал, например, современный ему Китай. В двадцатые его сочинения о Китае выходили ежегодно, их венцом стали «Очерки новейшей политической истории Китая», изданные в 1927-м⁷.

Но более всего в Кюннере Гумилева должен был привлечь интерес к географии и этнографии Центральной и Восточной Азии. Большая часть его курсов была так или иначе связана именно с этими науками. Названия его последних монографий говорят сами за себя:

⁷ Впрочем, слишком широкий научный кругозор Кюннера имел и обратную сторону. Его профессионализм некоторые синологи ставили под сомнение. Всеволод Сергеевич Колоколов, востоковед и переводчик, много лет преподававший в Военной академии имени Фрунзе, утверждал: «Кюннер мало знал китайский, ссылаться на него нельзя. Из уважения к нему мы обходим молчанием его ошибки». Кюннер стал профессором ЛГУ в 1925 году. С 1932 года основным местом работы Кюннера был Институт этнографии Академии наук, но он продолжал читать в ЛГУ несколько курсов, в основном факультативных. Кюннер был хорошим лектором, вел семинары, к тому же охотно помогал студентам, заинтересовавшимся каким-либо из его многочисленных курсов, раздавал им свои переводы.

«Корейцы», «Японцы», «Тибетцы», «Маньчжуры», «Народы острова Тайвань». Такой убежденный сторонник географического детерминизма, как Гумилев, мог многое у Кюнера почерпнуть.

Гумилев называл Кюнера своим наставником и учителем. Ахматова в письме к Ворошилову от 10 ноября 1954 года ссылается на Кюнера и Артамонова⁸ как на специалистов, которые могут подтвердить ценность научной деятельности ее сына. Более того, Кюнер помогал Гумилеву в заключении, посылал ему в лагерь книги, среди них было трехтомное «Собрания сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» иеромонаха Иоакимфа (Н.Я. Бичурина)». Для Гумилева, не знавшего китайского языка, тематическая подборка цитат из китайских манускриптов, составленная одним из первых русских востоковедов, станет ценнейшим источником. Кюнер же проверил и исправил переводы Бичурина, написал вводную статью, составил научный комментарий.

Когда Кюнера не станет, Ахматова напишет сыну в лагерь: «Он так любил тебя, что плакал, когда узнал о постигшем тебя».

Своим наставником Гумилев называл и Александра Юрьевича Якубовского, исследователя Средней Азии, Персии и арабских стран, ученика самого академика В.В. Бартольда. Якубовский получил два высших образования, на историко-филологическом и восточном факультетах. Его самым известным курсом была «История Халифата», одной из лучших научных работ – статья «Арабские и персидские источники об уйгурском турфанском княжестве в IX–X веках». Много лет спустя Гумилев будет охотно использовать историю арабов и Халифата для доказательства своей пассионарной теории этногенеза. О пророке Мухаммаде и борьбе религиозных партий Гумилев будет рассказывать уже в собственном курсе лекций, а Турфан и уйгуры станут одним из самых любимых сюжетов его «Степной трилогии». Кроме того, в 1937 году Якубовский в соавторстве с Грековым выпустит монографию о Золотой Орде, за которую несколько лет спустя получит Сталинскую премию. Книгу эту Гумилев, конечно, читал, хотя вряд ли одобрил – он смотрел на историю Орды совсем иначе.

Лучшим лектором исторического факультета и самой яркой личностью среди тогдашних историков был Евгений Викторович Тарле, как раз вернувшийся из ссылки и вскоре (в 1937 году) восстановленный в звании академика. На лекции Тарле по европейской истории XIX века приходили студенты с других факультетов и даже из других вузов. Лекции многие не записывали, словам Тарле просто внимали, отложив в сторону конспекты и карандаши. В январе 1937-го Гумилев сдавал Евгению Викторовичу экзамен по новой истории и получил оценку «отлично». Уже после войны он даже похвастается таким учителем перед Исайей Берлином.

⁸ Михаил Илларионович Артамонов – востоковед, один из основоположников советской археологии.

Студенты

С первого же курса студентов разделили на пять академических групп: три мужских и две женские. В университете преподавали лучше, чем еще несколько лет назад в ЛИЛИ-ЛИФЛИ, многим студентам приходилось тяжело – даже отечественную историю надо было учить с нуля. Условия для занятий были неважными. Читальные залы размещались в обычных аудиториях, сосредоточиться мешал доносившийся из коридора шум. Некоторые лекции читали в актовом зале, где приходилось устанавливать столы и стулья, на это уходило всё начало занятия.

В 1934–1936 годах учебников практически не было, к экзамену готовились по лекциям, которые еще несколько лет назад считались устаревшим и даже буржуазным методом преподавания. Конспекты передавали из рук в руки и зачитывали до дыр.

Издавались импровизированные учебные пособия. Еще в 1932 году в ЛИФЛИ появился курс лекций по истории Древнего Востока, подготовленный на основе конспектов двух студентов – Теодора Шумовского (будущего известного арабиста, переводчика Корана) и Михаила Черемных. Шумовский записывал медленно, а Черемных, рабочий парень, – быстро, но безграмотно. Ни редактора, ни корректора не нашлось, профессор Струве вчитываться в студенческие записи своих собственных лекций не стал, а потому учебное пособие, гордо названное «История Древнего Востока, курс лекций по конспекту Т.А. Шумовского и М.А. Черемных» представляло собой нечто ужасное. Замысловатые имена ассирийских и вавилонских правителей были напечатаны с ошибками, на каждую страницу приходилось десятка по два опечаток, вспоминал Дьяконов. Тем не менее курсом лекций, который прозвали «малым Струве», не один год пользовались студенты ЛИФЛИ и университета. К 1936-му появился и курс лекций профессора Вайнштейна, изданный также в спешке. Но маленького тиража не хватало, в библиотеке за учебными пособиями стояла очередь⁹.

При некоторых кафедрах истфака появились и студенческие научные кружки, объединенные в феврале 1937-го в студенческое научное общество историков, которое даже издавало свой журнал, где печатались доклады и статьи студентов, в том числе однокурсников Гумилева. Диапазон исследований был самым обширным – от академического антиковедения («Поэзия Феогида Мегарского») до марксистской истории колониальных и зависимых народов («Колониальная политика царизма в Казахстане»). Лев в работе этого общества, видимо, не участвовал, по крайней мере, ему лишь однажды, в январе 1938-го, предложили напечататься в журнале.

На первый взгляд Лев был счастливее своих сокурсников. Он несколько лет готовился к карьере историка, еще в Бежецке перечитал гимназические учебники, в его распоряжении была библиотека Пунина: «Оказалось, что у меня подготовка на уровне лучших студентов исторического факультета», – вспоминал Гумилев позднее. Греков, Лурье и Тарле ставили ему «отлично», Струве – «очень хорошо», Винников – просто «хорошо». В те времена оценки не завышали; чтобы получить хотя бы «удовлетворительно», студент истфака должен был много дней корпеть над книгами в библиотеке. Гумилев, помимо университетской, уже со студенческих лет стал прилежным читателем библиотеки Академии наук.

Осенью 1937-го Аксель Бекман представил юной Марии Зеленцовой Гумилева как лучшего студента исторического факультета. Гумилев обладал замечательной памятью, которую

⁹ В 1936–1937 годах издадут двухтомную «Историю античного общества» Ковалева. Мало того что курс Ковалева был пока схематичным и сырым (вышедший после войны курс истории Древнего Рима будет намного лучше), так его еще и напечатали на плохой бумаге, с массой опечаток. Но все-таки это было первое марксистское учебное пособие по античной истории. Дальше дело пойдет быстрее. В сентябре 1937-го Греков выпустит свою «Историю СССР», в 1938-м курс «Истории СССР» опубликует Мавродин. В 1938–1939 годах выйдет учебник по истории Средних веков, подготовленный совместно О.Л. Вайнштейном, А.Д. Удадьцовым, Н.П. Грацианским, Е.А. Косминским и И.И. Подольским.

он еще усовершенствовал собственным методом запоминания. Вот как он разъяснял свой метод: «...обычно учат историю, как сушеные грибы на ниточку нанизывают, одну дату, другую – запомнить невозможно. Историю надо учить, как будто перед тобою ковер. В это время в Англии происходило то-то, в Германии – то-то... Тогда ты не перепутаешь, потому что будешь не запоминать, а понимать». Теорию Гумилев проверял практикой. Лев вместе с несколькими студентами садился за один из последних столов, подальше от лектора, и начинал такую игру: один участник называет год, другие должны рассказать, что в этом году произошло в Чехии, Франции, Мексике, Китае и т. д.

Впрочем, историю со второй половины XIX века Гумилев знал намного хуже. В его зачетке есть несколько троек: по новой истории 1830–1870, по истории СССР 1800–1914, по новой истории колониальных и зависимых стран. Возможно, политизированная и уже насквозь марксистская история XIX–XX веков вызвала у него отторжение, а возможно, дело в одной тайне, связанной с его университетскими годами. К этой тайне мы еще вернемся.

Несколько хуже обстояли дела с языками. В отличие от настоящих аристократов, вроде будущего многолетнего корреспондента Гумилева, известного евразийца Петра Савицкого, у Льва не было французских гувернанток и немецких бонн. На истфаке он сдавал экзамены по французскому и латыни. По латыни Гумилев дважды получил «отлично», хотя позднее, уже в пятидесятые годы, жаловался Савицкому, что лишь «чуть-чуть» знает латынь. Впрочем, между его последним экзаменом по латыни и этим письмом – двадцать лет, два ареста, четыре лагеря и война. По французскому он успел получить «очень хорошо» и «удовлетворительно». Французскому он пытался учиться у матери, но дело не пошло из-за «антипедагогического таланта» Ахматовой: «Ей не хватало терпения. И большую часть урока она просто сердилась за забытые сыном французские слова. Текло время, наступало успокоение. И снова – ненадолго. Такие перепады настроений раздражали обоих». Тогда Гумилев записался в кружок французского языка, а с Ахматовой продолжал практиковаться в разговорном французском и в конце концов выучил этот язык достаточно хорошо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.